

Игра с огнем (сборник)

Автор:

Тесс Герритсен

Игра с огнем (сборник)

Тесс Герритсен

Звезды мирового детектива Медицинские триллеры #6

В полутемном антикварном магазинчике в Риме скрипачка Джулия Анделл натывается на пожелтевший листок с нотной записью – вальс неизвестного ей композитора. Джулия приходит в восторг от этой музыки, полной страдания и страсти. Вернувшись домой в Бостон, она начинает разучивать вальс, но внезапно обнаруживает, что эта мелодия оказывает необъяснимое, пугающее воздействие на маленькую дочь Джулии. Убежденная в том, что гипнотические звуки вальса навевают какие-то злые чары, Джулия решает раскопать всю правду о человеке, создавшем музыку, которая ставит под угрозу само существование ее семьи...

В книгу вошли также два рассказа о Джейн Риццоли и Мауре Айлз.

Впервые на русском языке!

Тесс Герритсен

Игра с огнем

© Г. Крылов, перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление.

Игра с огнем

Джулия

1

Уже от дверей я чувствую запах старых книг, аромат крошащихся страниц и тронутой временем кожи. Я заходила и в другие антикварные магазины этого мощеного проулка: там работают кондиционеры, двери плотно закрыты, чтобы не пускать внутрь жару, а здесь дверь распахнута и заклинена, она словно приглашает меня войти. Сегодня мой последний вечер в Риме, последняя возможность купить что-нибудь на память о поездке. Я уже нашла шелковый галстук для Роба и платице с умопомрачительными рюшами для нашей трехлетней дочери Лили, но для себя так пока ничего и не отыскала. Но вот в витрине антикварного магазинчика я вижу именно то, что мне нужно.

Я делаю шаг за порог; внутри темно, и несколько секунд мои глаза привыкают. На улице духота невыносимая, но здесь почему-то прохладно, я словно вошла в пещеру, куда не проникают ни жара, ни свет. Постепенно в сумраке проявляются формы предметов: я различаю шкафы, набитые книгами, старый кофр, а в углу – отполированные рыцарские доспехи. На стенах картины маслом, все они аляповатые, уродливые, отмечены пожелтевшими ценниками. Я не вижу хозяина, который стоит в нише, а потому вздрагиваю, когда он обращается ко мне по-итальянски. Поворачиваюсь и замечаю крохотного человечка с бровями, похожими на поседевших гусениц.

– Прошу прощения, – отвечаю я. – Non parlo italiano.

– Violino? – Он показывает футляр для скрипки, висящий у меня за спиной.

Инструмент слишком ценный, и я не могу оставить его в номере отеля, я всегда ношу его с собой.

– Musicista? – спрашивает он и начинает играть на воображаемой скрипке, его правая рука двигается туда-сюда с невидимым смычком.

– Да, я музыкант. Из Америки. Я выступала сегодня утром на фестивале.

Он вежливо кивает, но, думаю, не понимает моих слов. Я показываю на привлечший мое внимание предмет на витрине:

– Могу я посмотреть эту книгу? Libro. Musica.

Он вытаскивает из витрины ноты и протягивает мне. Я понимаю, что книга старая, по тому, как кромки листов крошатся под моими пальцами. Издание итальянское, на обложке вижу слово «Zingari»[1 - Цыгане (ит.).] и изображение вихрастого мужчины, играющего на скрипке. Я раскрываю ноты на первой вещи, написанной в миноре. Это незнакомая мне жалобная мелодия, пальцы уже покалывает от желания сыграть ее. То самое, что я всегда ищу, – старинная музыка, забытая, но заслуживающая того, чтобы ее открыли заново.

Я просматриваю другие мелодии, и тут из книги выпадает листок и, вспорхнув, опускается на пол. Не страница, просто лист бумаги, плотно исписанный нотами. Название композиции выведено изящными размашистыми буквами.

«Incendio»[2 - Пожар, огонь (ит.).], Л. Тодеско».

Я читаю музыку, слышу звучание нот у себя в голове, и мне хватает нескольких тактов, чтобы понять, насколько прекрасен этот вальс. Начинается он с простой мелодии в ми миноре, но с шестнадцатого такта становится сложнее. С шестидесятого такта ноты начинают громоздиться на ноты, сталкиваться. Я переворачиваю листок, каждый такт здесь плотно исписан карандашом. Цепочка проворных арпеджио закручивает мелодию безумным водоворотом нот, при

виде которых мурашки бегают по коже.

Я непременно должна купить эти ноты.

– Quanto costa?[З - Сколько это стоит? (ит.)] – спрашиваю я. – Лист с записью вместе с книгой.

Хозяин смотрит на меня с коварным огоньком в глазах:

– Cento.

Он вытаскивает авторучку и пишет число у себя на ладони.

– Сто евро? Вы шутите.

– E' vecchio. Старая.

– Но не настолько же!

Торговец пожимает плечами, давая понять: либо я соглашаюсь на его цену, либо уйду. Он уже увидел голодный блеск в моих глазах и знает, что может стянуть безумные деньги за потрепанный томик цыганских мелодий, а я заплачу столько, сколько он попросит. Музыка – моя единственная блажь. Меня не волнуют ни ювелирные изделия, ни дизайнерская одежда, ни туфли, единственная моя ценность – изготовленная сто лет назад скрипка в футляре у меня за спиной.

Он дает мне чек, я выхожу из магазина в предвечернюю жару, и она обволакивает меня, как сироп. Странно, но внутри у меня холодок. Я оглядываюсь на дом, но не вижу ни одного кондиционера, только закрытые окна и пару горгулий над щипцом. Солнечные зайчики спят глаза, они отражаются от дверной колотушки в виде головы Медузы. Дверь теперь закрыта, но через пыльное стекло я замечаю хозяина, он смотрит на меня, но тут же опускает жалюзи и исчезает из виду.

Мой муж Роб в восторге от галстука, который я привезла из Рима. Он стоит перед зеркалом в нашей спальне, умело завязывая шелковую петлю у себя на шее.

– Вот такая штука мне и нужна, чтобы хоть как-то оживить скучные заседания, – говорит он. – Может, яркие цвета развеют их сон, когда я перейду к цифрам.

В свои тридцать восемь он так же строен и привлекателен, как и в день нашей свадьбы, хотя последние десять лет и добавили седины его вискам. В крахмальной белой рубашке с золотыми запонками мой бостонских кровей муж выглядит точно так, как и должен выглядеть педантичный бухгалтер. У него в голове одни цифры: прибыли и убытки, активы и пассивы. Роб видит мир глазами математика, даже движения его геометрически выверены: хвост галстука описывает дугу и вплетается в идеальный узел. Какие же мы разные! Из цифр меня волнуют лишь номера симфоний, опусов и музыкальных размеров. Роб всем говорит, что именно поэтому и влюбился в меня: в отличие от него, я – художник, воздушное существо, танцующее в луче солнца. Прежде я боялась, как бы различия не разрушили наши чувства и Робу, твердо стоящему на земле, не надоело удерживать свою похожую на воздушный шарик жену, постоянно воспаряющую к облакам. Но вот прошло уже десять лет, а мы по-прежнему влюблены.

Он улыбається мне в зеркале, затягивая узел на шее:

– Джулия, ты сегодня проснулась чертовски рано.

– Я все еще живу по римскому времени. Там уже двенадцать часов. Вот в чем плюс смены часовых поясов – ты только представь, сколько всего я успею переделать!

– Вот тебе мой прогноз: к полудню ты свалишься с ног. Лили в садик отвезти?

– Нет, пусть сегодня останется дома. А то я чувствую себя виноватой – целую неделю не была с ней.

– Не терзайся. Твоя тетушка Вэл, как обычно, сразу же прилетела и все взяла в свои руки.

– Я по Лили ужасно соскучилась, проведу с ней весь день – до последней минуточки.

Он поворачивается, чтобы покрасоваться в своем новом галстуке, идеально отцентрированном под воротником.

– Какие у тебя на сегодня планы?

– Жара ужасная – пожалуй, съезжу в бассейн. А еще заскочу в библиотеку за новыми книгами.

– Дельно.

Роб наклоняется, чтобы поцеловать меня, его чисто выбритое лицо терпко пахнет лимоном.

– Я так не люблю, когда ты уезжаешь, детка, – шепчет он. – Может быть, в следующий раз возьму недельку отпуска, и мы поедем вместе. Думаю, это будет...

– Мамочка, смотри! Смотри, как красиво!

Наша трехлетняя дочка Лили вбегает в спальню в новом платье, что я привезла ей из Рима, и начинает кружиться. Лили уже примеряла обновку вчера вечером, а теперь не хочет ее снимать. Она без предупреждения, как ракета, устремляется ко мне в руки, и мы со смехом падаем на кровать. Нет ничего слаще запаха моей девочки, и я не хочу упустить ни одной молекулы, хочу всю ее втянуть в себя, чтобы мы снова стали одним телом. Я обнимаю смеющийся клубочек светлых волос и бледно-лиловых оборок платья, а Роб тоже опускается на кровать и обнимает нас обеих.

– Передо мной две самые красивые девчонки в мире, – заявляет он. – И они мои, до последнего волоска!

– Папа, оставайся дома, – требует Лили.

– Ох, хотелось бы мне остаться. – Роб шумно целует Лили в голову и неохотно поднимается. – К сожалению, папе нужно на работу. Но смотри, как тебе повезло: ты весь день будешь с мамочкой!

– Давай-ка наденем купальники, – говорю я Лили. – Мы с тобой сегодня прекрасно проведем время.

Мы и в самом деле прекрасно проводим время. Плещемся в районном бассейне, едим на ланч сырную пиццу и мороженое, а потом отправляемся в библиотеку, где Лили выбирает две новые книжки с картинками про ее любимых животных – осликов. Но когда в три часа мы возвращаемся домой, я от усталости чуть не падаю с ног. Как и предсказывал Роб, смена часовых поясов не прошла для меня бесследно, и я хочу одного – забраться в кровать и уснуть.

Но у Лили, к несчастью, сна ни в одном глазу, и она тащит в патио коробку со своей старой одеждой, где спит наш кот Джунипер. Лили любит наряжать Джунипера. Она уже повязала чепчик ему на голову, а теперь пытается натянуть рукав на его переднюю лапку. Наш старый добродушный кот, безразличный ко всем унижениям в виде кружавчиков и рюшечек, как и всегда, стоически терпит мучения.

Пока Джунипер страдает во имя моды, я приношу в патио скрипку с пюпитром и открываю ноты с цыганскими мотивами. И опять из книги выскальзывает листок и падает у моих ног лицевой стороной вверх. «Incendio».

Я не заглядывала в ноты со времени их покупки в Риме, и теперь, прикрепляя листок к пюпитру, вспоминаю сумрачный антикварный магазин и хозяина, который, словно некое пещерное существо, прячется в нише. У меня вдруг кожа покрывается мурашками, словно прохлада того магазина все еще сохранилась в нотах.

Я беру скрипку и начинаю играть.

Воздух сегодня влажный, и инструмент звучит лучше, сочнее, чем обычно, тональность мягкая и теплая. Первые тридцать два такта вальса, как я и предполагала, прекрасны: скорбный баритональный плач. Но с сорокового такта начинается ускорение. Мелодия выворачивается и закручивается, сбивается диезами и бемолями, воспаряет до седьмой позиции на струне ми. От

напряжения пот катится по лицу – я стараюсь не сбиться и в то же время поддерживать темп. Возникает впечатление, будто смычок начинает жить сам по себе, двигается как заколдованный, а я с трудом удерживаю его в руке. Ах, какая великолепная музыка! Какой будет замечательный концертный номер, если мне удастся его освоить. Стремительно несутся ноты. Внезапно я сбиваюсь, начинаю фальшивить, музыка пускается вскачь, и левую руку схватывает судорога.

Я чувствую ручонку у себя на ноге. Что-то теплое и влажное пачкает мою кожу.

Я перестаю играть и опускаю взгляд. Лили смотрит на меня, ее глаза чисты, как небесная бирюза. И даже когда я подпрыгиваю в страхе и выхватываю садовый инструмент из ее окровавленных пальцев, ничто не туманит ее спокойных голубых глаз. Ее босые ноги оставляют следы на плитке патио. Со все возрастающим ужасом я иду по следам к источнику крови.

И тут из моей груди вырывается вопль.

2

Роб помогает смыть кошачью кровь с плиток патио. Бедный старый Джунипер, завернутый теперь в черный мешок для мусора, ждет, когда его похоронят. Мы вырыли ему могилку в дальнем углу двора, за кустом сирени, так чтобы я не видела ее каждый раз, выходя в сад. Джуниперу перевалило за восемнадцать лет, он почти ослеп, наш старый добрый друг. Он заслуживает упокоения в чем-нибудь получше мешка для мусора, но я была слишком потрясена, и ничего умнее в голову мне не пришло.

– Это наверняка случайность, – настаивает Роб.

Он швыряет грязную губку в ведро, и вода точно по волшебству приобретает тошнотворно красноватый цвет.

– Лили, наверно, оступилась и упала на него. Слава богу, она не держала эту штуку острым концом вверх, а то могла бы и глаз себе выколоть. Или еще чего

похуже.

– Я заворачивала его в мешок для мусора. Видела его тело. Там не одна колотая рана, их там три. Ты думаешь, можно оступиться и упасть три раза?

Он берет орудие убийства – прополочную вилку с острыми зубцами.

– Как она вообще попала к ней в руки?

– Я пропалывала сад на прошлой неделе. Вероятно, забыла убрать ее в сарай. – На зубцах еще видна кровь, и я отворачиваюсь. – Роб, тебя не беспокоит ее реакция на все случившееся? Она заколола Джунипера, а несколько минут спустя попросила налить ей сока. Вот что меня пугает – ее абсолютное равнодушие к собственному поступку.

– Она еще слишком мала и не понимает. В три года никто не понимает, что такое смерть.

– Но она не могла не понимать, что делает ему больно. Он, вероятно, заверещал.

– А ты не слышала?

– Я играла здесь на скрипке. Лили баловалась с Джунипером в другом конце патио. Все тихо-спокойно. Пока...

– Может, он ее поцарапал? Как-то ее спровоцировал?

– Поднимись и посмотри на ее руки. Ни царапинки. И ты сам знаешь, наш кот и мухи бы не обидел. Выдерни клочок шерсти, наступи на хвост – он даже не пикнул бы. Он в жизни никого не поцарапал. Он у меня появился еще котенком, и чтобы умереть вот так...

Голос у меня срывается, и я опускаюсь на стул, обессиленная накатившей наконец волной горя и усталости. И чувства вины – ведь я не сумела защитить моего старого друга, хотя он умирал в двадцати футах от меня. Роб неловко похлопывает меня по плечу, не зная, как успокоить. Мой рациональный математический муж беспомощен, если нужно утешить плачущую женщину.

– Ну-ну, детка, – бормочет он. – Давай заведем котенка?

– Ты серьезно? После того, что она сделала с Джунипером?

– Да, пожалуй, глупое предложение. Но прошу тебя, Джулия, не вини ее. Она наверняка тоскует по нему не меньше, чем мы. Просто не понимает, что произошло.

– Мама? – кричит Лили из своей комнаты (я уложила ее поспать). – Мама!

Хотя она зовет меня, откликается Роб; он вытаскивает ее из кровати и покачивает у себя на коленях, сев в то самое кресло-качалку, в котором я когда-то кормила ее грудью. Я смотрю на них и вспоминаю вечера младенчества дочери, когда я долгими часами укачивала ее здесь в кресле и ее мягкая щечка прижималась к моей груди. Волшебные бессонные ночи, когда существовали только мы двое – я и Лили. Я заглядывала в ее глаза и шептала: «Пожалуйста, не забывай этого. Не забывай, как сильно мамочка тебя любит».

– Киски больше нет. – Лили рыдает в плечо Роба.

– Да, детка, – бормочет Роб. – Киска теперь на небесах.

– Вы считаете, такое поведение нормально для трехлетнего ребенка? – спрашиваю я педиатра неделю спустя, приехав с Лили на профилактический осмотр.

Доктор Черри обследует Лили; та смеется. Доктор пальпирует животик Лили, а потому отвечает не сразу. Похоже, он искренне любит детей, а Лили изо всех сил старается его очаровать. Она послушно поворачивает голову, чтобы он мог осмотреть ее барабанные перепонки, широко открывает рот, когда он вставляет туда ложечку. Моя хорошенькая дочка уже умеет очаровывать всех незнакомцев, с какими встречается.

Доктор выпрямляется и смотрит на меня:

– Агрессивное поведение – не обязательно повод для беспокойства. В таком возрасте дети легко озлобляются – они не умеют полностью выразить себя. А вы сами говорите, она до сих пор разговаривает преимущественно предложениями из трех-четырех слов.

– А это повод для беспокойства? То, что она говорит меньше других детей?

– Нет-нет. Возрастные вехи – понятие довольно неопределенное. Развитие детей – вещь очень индивидуальная, но развитие Лили во всем остальном в пределах нормы: рост, вес, моторные навыки. – Он сажает Лили на край смотрового стола и широко ей улыбается. – Какая же ты у нас хорошая девочка! Если бы все мои пациенты были так же терпеливы. Вы посмотрите, как она сосредоточенна, как внимательно слушает.

– А вдруг происшествие с нашим котом – только начало и она способна совершить и что-нибудь похуже, когда... – Я замолкаю, поняв вдруг, что Лили смотрит на меня и ловит каждое мое слово.

– Миссис Ансделл, – тихо говорит доктор, – отведите-ка Лили в детскую, а мы с вами поговорим у меня в кабинете.

Он, конечно, прав. Моя умненькая, внимательная дочь наверняка понимает больше, чем я могу себе представить. Я снимаю ее со смотрового стола и веду, как он и сказал, в игровую комнату для пациентов. Здесь повсюду разбросаны яркие пластиковые игрушки без острых углов и мелких частей, которые могли бы оказаться в детском рту. По полу ползает малыш возраста Лили, толкая по ковру красный самосвал. Опускаю дочку, и она тут же направляется к низкому столику с пластиковыми чашками и чайником. Она берет чайник и наливает себе невидимый чай. Откуда она знает, как это делается? Я никогда никого не приглашала на чаепитие, но вот моя дочь демонстрирует типичное женское поведение, а мальчик тем временем фырчит, толкая машинку.

Когда я вхожу в кабинет доктора Черри, тот уже сидит за своим столом. Через смотровое окно мы видим двух детей в соседней комнате; с их стороны в этом месте одностороннее зеркало, а потому они нас не видят. Они играют, совершенно игнорируя друг друга, существуя в отдельных мальчишеском и девчоночьем мирах.

– Думаю, вы придаете слишком большое значение случившемуся, – говорит он.

– Ей только три года, а она убила нашего любимого котика.

– Вас прежде ничего не настораживало в ее поведении? Вы не наблюдали никаких признаков того, что девочка способна на подобные поступки?

– Абсолютно никаких. Джунипер появился у меня еще до замужества, и Лили знает его всю свою жизнь. Она никогда его не мучила.

– А что могло спровоцировать такое поведение? Она рассердилась? Что-то ее озлобило?

– Да нет, ее вроде бы все устраивало. Обстановка была такая мирная, и я позволила им дурачиться, а сама играла на скрипке.

Он задумался над последними словами.

– Насколько я понимаю, игра на скрипке требует максимальной концентрации.

– Я разучивала совершенно новую вещь. Да, я очень сосредоточилась.

– Ну вот вам и вероятное объяснение. Вы погрузились в свое занятие, а она хотела привлечь ваше внимание.

– Заколов нашего кота? – Я издаю недоуменный смешок. – Довольно радикальный способ привлечь мое внимание.

Я вижу мою золотоволосую дочку сквозь смотровое окно – она так красиво восседает на собственном вымышленном чаепитии. Мне не хочется задавать следующий вопрос, но я не могу его не задать.

– Я читала в Интернете статью о детях, которые мучают животных. Это считается очень плохим знаком. Может свидетельствовать о серьезных эмоциональных проблемах у ребенка.

– Поверьте мне, миссис Ансделл, – доброжелательно улыбается доктор, – Лили не вырастет серийным убийцей. Вот если бы она постоянно мучила животных или в семье в прошлом имели место случаи насилия, тогда я бы выразил бо?льшую озабоченность.

Я ничего не отвечаю, и он хмурится.

– Вы хотели чем-то поделиться со мной? – без нажима спрашивает он.

Набрав в грудь побольше воздуха, я говорю:

– В семье в прошлом имели место случаи душевного заболевания.

– По линии вашего мужа или по вашей?

– По моей.

– Не помню ничего подобного в медицинской карточке Лили.

– Я никогда об этом не говорила. Не думала, что подобные вещи могут повторяться в семье.

– Какие вещи?

Я отвечаю не сразу, потому что, с одной стороны, не хочу лгать, а с другой – не хочу открывать ему больше, чем необходимо. Не хочу чувствовать себя потом неловко. Я смотрю через окно в соседнюю комнату на мою хорошенькую дочку.

– Это случилось вскоре после рождения моего брата. Мне тогда было всего два года, и сама я ничего не помню. Подробности я узнала уже потом, от моей тетушки. Она сказала, у моей матери случилось что-то вроде нервного срыва и ее пришлось отправить в больницу, так как врачи считали, что она может быть опасна для окружающих.

– Судя по времени срыва, мы имеем дело с постнатальной депрессией или психозом.

– Да, я слышала, матери поставили именно такой диагноз. Ее диагностировали несколько психиатров, и все они пришли к выводу о ее невменяемости и невозможности привлечения к суду за случившееся.

– А именно?

– Мой брат... мой новорожденный брат... – Я начинаю говорить тише, шептать. – Она его уронила, и он умер. Врачи сказали, она тогда не отвечала за свои поступки. Слышала голоса.

– Глубоко вам сочувствую. Вероятно, ваша семья пережила тогда нелегкое время.

– Не могу даже себе представить, как мучился мой отец, потерявший ребенка. А потом еще и жену – ее изолировали.

– Вы сказали, ее поместили в больницу. Она потом поправилась?

– Нет. Она умерла там два года спустя от воспаления аппендикса. Я ее в общем-то и не знала, но теперь я о ней все время думаю. И спрашиваю себя: может быть, Лили... то, что она сделала с нашим котом...

Теперь он понимает мои опасения. Вздыхает и снимает очки.

– Уверяю вас, никакой связи тут нет. Генетика насилия гораздо сложнее, чем наследование Лили ваших светлых волос и голубых глаз. Мне известны лишь несколько подтвержденных случаев наследования такой склонности. Например, в Голландии есть семья, в которой почти все мужчины получили сроки тюремного заключения. И мы знаем: мальчики, рождающиеся с лишней Y-хромосомой, более склонны к совершению преступлений.

– А наблюдается ли что-либо похожее у девочек?

– Девочки, конечно, тоже бывают социопатами. Но передается ли социопатия по наследству? – Он отрицательно качает головой. – Статистического подтверждения такой гипотезы, кажется, не существует.

Статистика. Мне на ум сразу же приходит Роб, который вечно приводит цифры. Мужчины питают поразительное доверие к цифрам. Они ссылаются на научные труды и цитируют новейшие исследования. Почему меня это не утешает?

– Успокойтесь, миссис Ансделл. – Доктор Черри протягивает руку и похлопывает меня по кисти. – Ваша дочь в три года абсолютно нормальная. Она обаятельная и ласковая, и вы говорите, ничего подобного прежде она не делала. Вам не о чем беспокоиться.

Когда я подъезжаю к дому тетушки Вэл, Лили спит в своем детском кресле. Время для сна необычное, но спит она глубоко, не просыпается, даже когда я поднимаю ее с сиденья. Даже во сне она крепко держит ослика, тот неизменно путешествует вместе с ней и имеет в последнее время довольно прискорбный вид – обтрепанный, обслюнявленный и, вероятно, кишачий бактериями. Бедный старый ослик – я его столько раз латала-перелатывала, что он превратился в настоящего ослика Франкенштейна, исполосованного моими неумелыми швами. Я замечаю новую прореху, из которой уже торчит набивка.

– Ай, какая она красotka, – воркует Вэл, когда я вношу Лили в дом. – Настоящий ангелочек.

– Я положу ее на твою кровать?

– Конечно. Только оставь дверь открытой, чтоб услышать, если она проснется.

Я заносу Лили в спальню Вэл и осторожно опускаю на одеяло. Несколько секунд смотрю на нее, как всегда очарованная видом моей спящей дочери. Я наклоняюсь над ней, вдыхаю ее запах, ощущаю тепло, поднимающееся от покрасневших щечек. Она вздыхает во сне и бормочет: «Мама» – слово, которое всегда вызывает у меня улыбку. Слово, которое мне так мучительно хотелось услышать в течение тех горьких лет, когда я пыталась забеременеть и неизменно терпела неудачу.

– Детка, – шепчу я.

Когда я возвращаюсь в гостиную, Вэл спрашивает:

– И что сказал доктор Черри?

– Он говорит, беспокоиться не о чем.

– А я тебе что говорила? Дети и домашние животные не всегда уживаются. Ты не помнишь, но ты в два года мучила моего старого пса. Когда он наконец куснул тебя, ты тут же ударила его в ответ. Я думаю, что-то в таком роде произошло между Лили и Джунипером. Иногда дети реагируют, не думая. Не понимая, какие могут быть последствия.

Я смотрю в окно на сад Вэл, маленький рай с буйной растительностью, засаженный помидорами и огурцами, усики которых цепляются за решетку. Мой покойный отец тоже любил ее сад. Он любил готовить, декламировать стихи и петь, хотя ужасно фальшивил, как и его сестра Вэл. Они на детских фотографиях даже похожи – оба худые, загорелые, с одинаковыми мальчишковыми стрижками. В доме Вэл столько снимков моего отца, что я неизменно ухожу от нее с болью в сердце. На стене напротив меня фотографии отца десятилетним мальчишкой с удочкой. В двенадцать – с маленьким радиоприемником. В восемнадцать – в мантии выпускника школы. И всегда на лице все та же искренняя, открытая улыбка.

А на книжной полке еще одна фотография – он вместе с моей матерью, снято в тот день, когда они привезли в дом своего первенца – меня. Других фотографий моей матери в доме нет – тетушка против. А эту она пропустила по единственной причине: на ней есть я.

Я подхожу и разглядываю лица на снимке.

– Как же я на нее похожа. Только сейчас поняла.

– Да, ты на нее похожа, а она слыла настоящей красавицей. Если Камилла входила в комнату, все головы поворачивались к ней. Твоему отцу хватило одного раза взглянуть на нее – и он влюбился без памяти. У моего несчастного брата не было ни одного шанса.

– Ты ее так ненавидела?

– Ненавидела? – Вэл обдумывает мой вопрос. – Нет, я бы так не сказала. И уж определенно не поначалу. Камилла абсолютно покорила меня своим обаянием; как и всех, кто с ней сталкивался. Никогда не видела женщины, столь щедро одаренной. Красота, ум, талант. А какое чувство стиля!

– Вот уж чего я точно от нее не унаследовала, – грустно усмехаюсь я.

– Ах, детка, ты унаследовала лучшие черты обоих родителей. У тебя внешность и музыкальный талант Камиллы и щедрое сердце отца. Ты – лучшее, что случилось в жизни Майкла. Ему выпало влюбиться в нее, прежде чем ты появилась на свет, и меня это не радовало. Но, черт побери, ведь в нее влюблялись все поголовно. Она умела затягивать людей в свое силовое поле.

Я думаю о дочери, о том, как легко она обаяла доктора Черри. В три года она способна очаровать любого. Таким даром Бог меня не наделил, а Лили с ним родилась.

Возвращая фотографию родителей на полку, я спрашиваю у Вэл:

– Так что на самом деле случилось с моим братом?

Она тут же замыкается в себе и отворачивается. Ей явно не хочется продолжать разговор. Я всегда подозревала: мне чего-то недоговаривают и в истории моей матери есть что-то гораздо более темное и тревожное, да я и сама боялась спрашивать. Но сегодня решаюсь.

– Вэл? – окликаю ее я.

– Ты все знаешь, – говорит она. – Я тебе все рассказала, когда почувствовала, что ты уже выросла и сможешь понять.

– Но подробностей ты мне не сообщила.

– Кому они нужны – подробности?

– Теперь они нужны мне. – Я смотрю в сторону спальни, где спит моя дочка, моя дорогая девочка. – Я должна знать, не похожа ли на нее Лили.

– Прекрати, Джулия. Ты на ложном пути, если думаешь, что Лили хоть в чем-то похожа на Камиллу.

– Все прошедшие годы я слышала только какие-то обрывки истории о моем брате. Но я всегда чувствовала: за твоими словами кроется что-то большее, о чем ты не хочешь говорить.

– Да если даже знать все, история не станет понятнее. Даже тридцать лет спустя я не понимаю, почему она так поступила.

– А как именно она поступила?

Вэл задумалась на мгновение.

– После того случая – когда дело наконец дошло до суда – психиатры назвали ее состояние постнатальной депрессией. Твой отец тоже так считал. Хотел верить, и для него стало большим облегчением, когда ее не приговорили к тюремному заключению. К счастью для Камиллы, вместо тюрьмы ее отправили в больницу.

– Где позволили умереть от воспаления аппендикса. Вряд ли тут уместно говорить «к счастью».

Вэл по-прежнему избегает встречаться со мной взглядом. Молчание между нами сгущается, и воздух грозит окаменеть, если я не вмешаюсь.

– Ты чего-то недоговариваешь? – тихо спрашиваю я.

– Извини, Джулия. Ты права, я была с тобой не до конца откровенна. По крайней мере в том, что касается этого.

– Чего именно?

– Того, как умерла твоя мать.

– Я думала, от воспаления аппендикса. Ты и папа всегда говорили: она умерла в больнице через два года.

– Да, она умерла через два года, но не от воспаления аппендикса. – Вэл вздыхает. – Не хотела тебе говорить, но ты хочешь правды. Твоя мать умерла от внематочной беременности.

– От беременности? Но ее приговорили к изоляции как душевнобольную.

– Вот именно. Камилла так и не назвала отца, а мы так никогда и не узнали, кто он. После смерти в ее палате обнаружили всевозможную контрабанду. Алкоголь, дорогие ювелирные изделия, косметику. Я не сомневаюсь, она торговала собой, а взамен получала услуги, и инициатива исходила от нее, ведь она всегда умело манипулировала людьми.

– И все же она была жертвой. С ее психическим заболеванием.

– Да, именно так психиатры и говорили в суде. Назвали ее состояние постнатальной депрессией и психозом. Но я тебе говорю, никакой депрессией Камилла не страдала. И никаким психозом. Она просто скучала. И отличалась мстительностью. И ей надоел твой братишка: у него болел животик и он все время плакал. Она всегда хотела быть в центре внимания и привыкла к тому, что мужчины готовы перебить друг друга, лишь бы сделать ее счастливой. Камилла считала себя золотой девушкой и знала, что всегда добьется своего, но вот оказалась женой, привязанной к двум детям, которых никогда не хотела. В суде она сказала, что ничего не помнит, но один сосед все видел, и он дал показания. Он видел, как Камилла вынесла на балкон твоего братика. Видел, как она намеренно перебросила младенца через перила. Не выронила его, а выбросила с высоты двух этажей на землю. Хорошенького трехнедельного мальчика с голубыми глазками, как у тебя. Слава богу, я в тот день сама с тобой нянькалась. – Вэл набирает в грудь побольше воздуха. – Иначе и ты, возможно, отправилась бы следом за братом.

Дождь молотит в окно моей кухни, его водянистые пальцы скользят по стеклу, а мы с Лили готовим на завтра овсяную кашу и печенье с изюмом для ее детского праздника. В эпоху, когда, кажется, у каждого ребенка аллергия

то на яйца, то на глютен, то на орехи, готовку печенья можно приравнять к диверсии, я словно пеку отравленные кружочки для хрупких деточек. Другие матери, вероятно, делают здоровые закуски, какие-нибудь фруктовые дольки или свежую морковь, а я замешиваю масло и яйца, муку и сахар, получаю вязкое тесто, и мы с Лили лепим из него комочки и выкладываем на противень. Я достаю теплое, ароматное печенье из духовки и ставлю перед Лили две штуки и стакан с яблочным соком – ее полдник. Вкуснота, сахар. Какая же я плохая мать.

Она с удовольствием принимается за еду, а я сажусь перед пюпитром. Я уже несколько дней почти не вынимала скрипку из футляра, и мне нужно подготовиться к следующей репетиции. Скрипка ложится на плечо, как старый друг, а когда я настраиваю инструмент, дерево звучит сочно, с шоколадной густотой, словно требуя для разогрева чего-то медленного и мелодичного. Я откладываю в сторону партитуру квартета Шостаковича, который собиралась разучивать, а вместо него прикрепляю к пюпитру «Incendio». Фрагменты вальса всю неделю звучали у меня в голове, а сегодня утром я проснулась с непреодолимым желанием услышать его еще раз, утвердиться во мнении, что не ошиблась и он прекрасен.

О да, так и есть. Печальный голос моей скрипки словно поет о разбитых сердцах и утраченной любви, о темных лесах и холмах, населенных призраками. Потом печаль переходит в волнение. Лейтмотив не изменился, но теперь ноты ускоряются, перемещаются по звукоряду на струне ми, где убыстряются до целого ряда арпеджио. Мой пульс несется вперед вместе с безумным ритмом. Я пытаюсь выдерживать темп, пальцы спотыкаются друг о дружку. Руку сводит судорога. Неожиданно ноты начинают звучать фальшиво, дерево гудит, словно вибрируя на какой-то запредельной частоте, от которой мой инструмент вот-вот расколется и распадется на части. Но я не сдаюсь, сражаюсь со своей скрипкой, пытаюсь подчинить ее себе. Гудение становится громче, мелодия срывается на визг.

Но я слышу собственный крик.

Я охаю от боли и смотрю на свое бедро. На сверкающий осколок стекла, торчащий из моей плоти, точно хрустальный кинжал. За собственными рыданиями я слышу чей-то голос, он раз за разом распевает три слова, голос звучит так бездушно, так механически – я его почти не узнаю. И, только увидев, как двигаются ее губы, я понимаю, что слышу голос моей дочери. Она смотрит на меня глазами спокойной, неземной голубизны.

Я делаю три глубоких вдоха, чтобы набраться мужества, и хватаюсь за осколок стекла. С криком боли извлекаю его из тела. По ноге струится алая кровяная ленточка. Дальше я уже ничего не вижу, дальше опускается темнота: я теряю сознание.

Сквозь туман болеутоляющих я слышу, как муж по другую сторону занавески в отделении скорой помощи разговаривает с Вэл. Голос его прерывается, он, похоже, неся в больницу бегом, и теперь Вэл пытается его успокоить.

– Ничего страшного, Роб. Ей наложили швы и сделали противостолбнячную прививку. И еще у нее шишка на лбу – ударилась о журнальный столик во время падения. Но когда пришла в себя, позвонила мне – попросила о помощи. Я сразу же приехала и привезла ее сюда.

– Так ничего серьезного нет? Вы уверены, что она просто упала в обморок?

– Если ты видел кровь на полу, то тебе должно быть ясно, почему она грохнулась. Рана была довольно страшная и чертовски болезненная. Но доктор из скорой помощи сказал, рана на вид довольно чистая и опасности заражения нет.

– Так я заберу ее домой?

– Да, конечно. Вот только... – Вэл переходит на шепот: – Я волнуюсь за нее. В машине она сказала...

– Мамочка? – Я слышу хныканье Лили. – Хочу к мамочке.

– Ш-ш-ш, детка, мамочка отдыхает. Шуметь нельзя. Нет, Лили, побудь здесь. Лили, нельзя!

Занавеска отлетает в сторону, и я вижу ангельское личико моей дочери, она тянется ко мне. Я отшатываюсь, от ее прикосновения меня бросает в дрожь.

– Вэл! – кричу я. – Пожалуйста, заberi ее.

Тетушка обхватывает Лили руками.

– Она сегодня переночует у меня, хорошо? Ну-ка, Лил, давай сегодня поспишь у меня.

Лили тянется ко мне, хочет меня обнять, но я отворачиваюсь, я боюсь посмотреть на нее, боюсь увидеть нездешний взгляд ее голубых глаз. Вэл уводит мою дочь из палаты, а я лежу неподвижно на боку. Мое тело словно погружено в такую толстую ледяную оболочку, что кажется, я никогда ее не разобью и не выберусь на свободу. Роб стоит рядом, гладит мои волосы, но я даже не чувствую его прикосновения.

– Детка, давай я отвезу тебя домой? – говорит он. – Закажем пиццу, проведем тихий вечер вдвоем. У нас давно не было таких вечеров.

– История с Джунипером не случайность, – шепчу я.

– Что?

– Она напала на меня, Роб. Напала осознанно.

Его рука замирает на моей голове.

– Может быть, тебе просто показалось. Ей же всего три года. Она слишком мала, она даже не понимает, что сделала.

– Она взяла осколок стекла и вонзила мне в ногу.

– А как осколок оказался у нее?

– Утром я разбила вазу, осколки выбросила в мусорное ведро. Она, видимо, залезла туда и нашла их.

– И ты не видела, как она их доставала?

– Мне почему-то кажется, ты меня в чем-то обвиняешь.

– Я... я просто пытаюсь понять, как такое могло произойти.

– А я тебе говорю о случившемся факте. Она сделала это намеренно. И так мне и сказала.

– Что она тебе сказала?

– Три слова. Она их повторяла снова и снова, нараспев. «Мамочке сделать бо-бо».

Он смотрит на меня как на сумасшедшую, словно я сейчас вскочу с кровати и наброшусь на него, ведь ни одна нормальная женщина не должна бояться своего трехлетнего ребенка. Он отрицательно покачивает головой, не зная, как объяснить сцену, которую я описала. Даже Робу не по силам решить предложенное ему уравнение.

– Зачем? – спрашивает он наконец. – Она сейчас плакала – просилась к тебе, пыталась тебя обнять. Она тебя любит.

– Я больше ни в чем не уверена.

– Когда ей больно, когда ей плохо, кого она зовет? Всегда тебя. Ты – центр ее вселенной.

– Она слышала мой крик. Видела мою кровь и ничуть не испугалась. Я заглянула в ее глаза и не нашла там любви.

Роб не в силах скрыть недоумение – оно написано на его лице, очевидное как божий день. С таким же успехом я могла бы ему сказать, будто у Лили отросли клыки.

– Знаешь, детка, отдохни-ка немного. А я поговорю с медсестрой, спрошу, когда тебя можно забрать домой.

Он выходит из палаты, а я в изнеможении закрываю глаза. От анальгетиков у меня туман в голове, и хочется одного – крепко уснуть, но в отделении скорой помощи вечная суeta, все время звонят телефоны, из коридора доносятся голоса. Я слышу поскрипывание колесиков медицинской каталки в коридоре, а

вдали в какой-то палате плачет младенец. Судя по звуку, совсем крохотный. Я вспоминаю вечер, когда привезла сюда Лили, ей было тогда всего два месяца, и у нее поднялась температура. Я помню ее горячие, покрасневшие щеки, помню, как она лежала на смотровом столе неподвижная, совершенно неподвижная и безмолвная. Что и испугало меня больше всего – она не плакала. И мое сердце вдруг начинает томиться по ней, по той Лили, которую я помню. Я закрываю глаза и ощущаю запах ее волос, чувствую свои губы на ее покрытом пушком темечке.

– Миссис Анделл? – раздается голос.

Я открываю глаза и вижу бледного молодого человека рядом с моей каталкой. На нем очки в проволочной оправе и белый халат. На беджике написано «Доктор Эйзенберг», но, кажется, он слишком молод, чтобы быть дипломированным врачом. Судя по его виду, он и школу-то еще не закончил.

– У меня сейчас был ваш муж. Он попросил меня поговорить с вами о том, что случилось сегодня.

– Я уже все рассказала другому доктору – забыла его имя.

– Вы говорите о враче скорой помощи. Он занимался вашей раной. А я хочу поговорить о том, как вы ее получили и почему считаете виноватой вашу дочь.

– Вы педиатр?

– Я врач-стажер, моя специализация – психиатрия.

– Детская психиатрия?

– Нет, взрослая. Насколько я понимаю, вы очень расстроены.

– Ясно, – устало усмехаюсь я. – Дочь вонзает мне в ногу осколок стекла, а значит именно мне требуется психиатр.

– Так и было? Она вас ранила осколком стекла?

Сдвинув простыню, я показываю ему бедро – на рану недавно наложили швы, теперь она забинтована.

– Поверьте, я эти швы не выдумала.

– Я читал записи доктора скорой помощи: у вас серьезная рана. А шишка на лбу – она откуда?

– Упала в обморок. От вида крови мне становится плохо. Кажется, я ударилась головой о журнальный столик.

Он пододвигает к каталке стул и садится. У него длинные ноги и тощая шея, и мне кажется, что рядом со мной примостился журавль.

– Расскажите про вашу дочь Лили. Ваш муж говорит, ей три года.

– Да. Всего три.

– Прежде она ничего такого не делала?

– Был еще один случай. Недели две назад.

– История с котом. Да, ваш муж мне рассказал.

– Значит, вам известна наша проблема. Случай уже не первый.

Врач наклоняет голову, будто я какое-то необычное новое существо, которое он пытается идентифицировать.

– Кто-нибудь, кроме вас, замечал за ней подобное поведение?

Его вопрос настораживает меня. Уж не думает ли он, что тут все дело в интерпретации? И кто-нибудь другой увидел бы что-то совершенно иное? Он вполне естественно считает трехлетнего ребенка невинным. Несколько недель назад я сама бы не поверила, что моя дочь, с которой мы столько обнимались-целовались, способна на насилие.

– Вы ведь не видели Лили? – спрашиваю я.

– Нет. Но ваш муж говорит, у вас очень счастливая, обаятельная девчушка.

– Так и есть. Все, кто ее знает, говорят, какая она прелесть.

– А что видите вы, когда смотрите на нее?

– Она моя дочь. Конечно, я вижу во всех смыслах идеальную девочку. Но...

– Но?

Комок встает в горле, я перехожу на шепот:

– Она другая. Она изменилась.

Он ничего не говорит – делает запись в своем блокноте. Бумага и авторучка – как старомодно, все остальные врачи, с которыми я встречаюсь в последнее время, неизменно пользуются ноутбуками. Почерк у него такой мелкий – будто муравей бежит по бумаге.

– Расскажите, как проходили роды. С осложнениями? С трудностями?

– Роды были долгие – восемнадцать часов. Но все прошло прекрасно.

– А как вы к этому отнеслись?

– Вы имеете в виду, если отбросить в сторону усталость?

– Я имею в виду эмоциональную сторону. Когда впервые ее увидели. Когда впервые взяли на руки.

– Вы спрашиваете, существует ли между нами связь? Хотела ли я ее?

Он смотрит на меня – ждет, когда я отвечу на собственные вопросы. Насколько я понимаю, его вопрос – своего рода тест Роршаха, и я повсюду вижу минные поля.

Если я скажу что-нибудь неправильное, то стану плохой матерью?

– Миссис Ансделл, – мягко говорит он, – любой ваш ответ будет правильным.

– Да, я хотела дочь! – выпаливаю я. – Мы с Робом много лет хотели ребенка. День рождения Лили – лучший день в моей жизни.

– Значит, вы были рады ее рождению.

– Конечно, я была рада! И... – Я на секунду замолкаю. – И немного испугана.

– Почему?

– На меня внезапно свалилась ответственность за маленького человечка, имеющего собственную душу. Человечка, которого я еще не знала.

– И что вы увидели, когда посмотрели на нее?

– Хорошенькую маленькую девочку. Десять пальчиков на руках, десять – на ногах. Волосиков – почти никаких, – добавляю я с задумчивым смешком. – Но во всем остальном идеальная.

– Вы сказали про человечка с собственной душой, которого вы еще не знаете.

– Ведь новорожденные – чистый лист, никто не знает, что из них получится. Будут ли они тебя любить. А ты можешь только ждать и наблюдать, как они растут.

Он снова делает запись в блокноте. Я определенно произнесла что-то показавшееся ему интересным. О новорожденных и душах? Я ничуть не религиозна и понятия не имею, почему такие слова сорвались с моего языка. Я поглядываю со все возрастающим беспокойством, спрашиваю себя, когда кончится мое испытание. Действие местной анестезии заканчивается, и рана начинает болеть. Пока психиатр неторопливо записывает про меня бог знает что, я проникаюсь отчаянным желанием бежать от неистового сияния ламп.

– И какая, по-вашему, у Лили душа? – спрашивает он.

– Не знаю.

Он смотрит на меня, вздернув брови, и я понимаю, что он ждал другого ответа. Нормальная, любящая мать утверждала бы: у нее нежная, или добрая, или невинная дочь. Мой ответ оставляет открытыми иные, более темные возможности.

– И каким она была младенцем? – спрашивает он. – Животик болел? Проблемы с кормлением или сном не возникали?

– Нет, она почти не плакала. Всегда такая довольная, всегда улыбчивая. Всегда хотела обниматься. Я не подозревала, что материнство – такое легкое дело, никаких трудностей я не испытывала.

– А когда она подросла?

– Никаких ужасов в два года. Она росла идеальным ребенком до того момента, пока... – Я смотрю на простыню, которой укрыта моя раненая нога, и голос мой стихает.

– Как вы думаете, почему она напала на вас, миссис Ансделл?

– Не знаю. День у нас прошел замечательно. Мы вместе пекли печенье. Она сидела за журнальным столиком, пила сок.

– И вы думаете, она достала осколок стекла из мусорного ведра?

– Вероятно, оттуда.

– Вы этого не видели?

– Я играла на скрипке. Смотрела в ноты.

– Ах да, ваш муж сказал: вы профессиональный музыкант. Вы играете в оркестре?

– Я вторая скрипка в квартете. У нас женский ансамбль. – Он всего лишь кивает, и я чувствую, что должна добавить: – Несколько недель назад мы выступали в Риме.

Кажется, мои слова производят на него впечатление. Выступления за рубежом всегда производят впечатление на людей, пока они не узнают, какие гроши мы получаем.

– Я целиком погружаюсь в музыку, когда играю, – поясняю я. – Поэтому, наверное, я и не заметила, как Лили встала и пошла на кухню.

– Как вы думаете, она злится, когда вы играете? Дети часто не любят, когда мамы разговаривают по телефону, работают на компьютере, они хотят, чтобы мама все свое время отдавала им.

– Никогда прежде это не вызывало у нее протеста.

– А на сей раз не было какого-то отличия? Может, вы больше погрузились в свои занятия, чем обычно?

На секунду я задумываюсь:

– Да, музыка и в самом деле меня захватила. Новая вещь и очень сложная. У меня проблемы со второй частью.

Я замолкаю, мысленно возвращаюсь к трудностям, с которыми столкнулась, пытаюсь сыграть тот вальс. Как сводило судорогой мои пальцы, когда все подряд зловредные ноты отказывались меня слушаться! «Incendio» переводится с итальянского как «огонь», но пальцы у меня леденеют.

– Миссис Анделл, вас что-то взволновало?

– Две недели назад... в тот день, когда Лили убила нашего кота... я играла ту же композицию.

– О какой композиции вы говорите?

– О вальсе. Ноты я купила в Италии. Запись от руки – я нашла ее в антикварном магазине. Вдруг мы имеем дело не со случайным совпадением?

– Сомневаюсь. Вряд ли ее поведение как-то связано с музыкой.

Эта новая мысль будоражит меня.

– Я играла другие произведения для скрипки, не менее трудные, и Лили никогда не хулиганила, не капризничала. Но тот вальс – он какой-то другой. Я играла его всего два раза, и она в обоих случаях совершала что-то ужасное.

Несколько секунд он молчит, не делает записей в своем блокноте. Просто смотрит на меня. Но я чуть ли не вижу, как мечутся мысли в его черепной коробке.

– Расскажите мне про эту музыку. Говорите, вы играли вальс?

– Мелодия довольно навязчивая, в ми миноре. Вы разбираетесь в музыке?

– Я играю на рояле. Продолжайте, пожалуйста.

– Начинается мелодия очень спокойно и просто. Мне даже приходит в голову, что изначально вещь писалась как танцевальная музыка. Но потом она все больше и больше усложняется. Появляются какие-то странные диезы и бемоли и ряд «интервалов дьявола».

– Что такое «интервалы дьявола»?

– Их еще называют тритонами или увеличенными квинтами. В Средневековье такие интервалы считались нечистыми и в церковной музыке запрещались как неблагозвучные и будоражающие слушателя.

– Похоже, слушать ваш вальс не очень приятно.

– И его очень трудно играть, в особенности когда он взлетает в стратосферу.

– Значит, в высокий диапазон?

– Диапазон выше, чем обычно играет вторая скрипка.

Он снова задумывается. Что-то в моих словах явно его заинтриговало, и спустя несколько секунд он говорит:

– Когда вы играли ваш вальс, в какой именно момент Лили напала на вас? Когда звучали высокие ноты?

– Пожалуй, да. Я помню, что уже перешла на вторую страницу.

Я смотрю, как он постукивает авторучкой по блокноту – нервное, ритмичное постукивание.

– Кто у Лили детский врач? – неожиданно спрашивает он.

– Доктор Черри. Мы были у него неделю назад на регулярном осмотре, и он не нашел у нее никаких отклонений от нормы.

– Тем не менее я, пожалуй, ему позвоню. Если вы не возражаете, я бы предложил вам консультацию у невролога.

– Для Лили? Зачем?

– Я всего лишь высказываю подозрение, миссис Анделл. Но возможно, вы нащупали очень важное обстоятельство. Не исключено, что музыкальная композиция, о которой вы говорите, – ключ ко всему случившемуся.

Ночью, когда Роб крепко спит, я выбираюсь из кровати и спускаюсь в гостиную. Он смыл кровь, и единственным напоминанием о том, что случилось со мной днем, служит влажное пятно на ковре. Пюпитр стоит на том месте, где я его оставила, листок с «Incendio» по-прежнему закреплен на нем.

Нот в приглушенном свете почти не разобрать, поэтому я несу листок к кухонному столу и сажусь, чтобы внимательнее его рассмотреть. Я не знаю, чего ищу. Передо мной обычный лист писчей бумаги, испещренный с обеих сторон нотами. Они написаны карандашом. На обеих сторонах я вижу свидетельства спешки: вместо значков лиги простые черточки, ноты – всего лишь карандашные точки на стане. Я не вижу здесь никакой черной магии, никаких скрытых рун или водяных знаков. Но что-то в этой музыке отравило нашу жизнь, превратило нашу дочку в маленькое чудовище, которое напало на меня. Испугало меня.

Неожиданно возникает желание уничтожить проклятую бумажку. Сжечь ее, превратить в прах, чтобы она больше не могла нам вредить.

Я несу ее к плитке, поворачиваю краник и смотрю, как вспыхивает голубое пламя горелки. Но я не могу заставить себя сделать последний шаг. Не могу уничтожить то, что, возможно, является единственным экземпляром вальса, очаровавшего меня с первого взгляда.

Я выключаю горелку.

Стою в одиночестве в кухне и смотрю на ноты, чувствую силу музыки, излучаемую листом бумаги, словно тепло – пламенем.

И задаю себе вопрос: откуда они взялись?

Лоренцо

4

Венеция, перед войной

Обнаружив на корпусе своей драгоценной скрипки (семейной реликвии, изготовленной в Кремоне двумя столетиями ранее) крохотную трещину,

профессор Альберто Мацца сразу же понял: починить ее сможет только лучший скрипичный мастер Венеции, а потому немедленно отправился в мастерскую Бруно Тодеско на Калле-делла-Кьеза. Бруно славился умением с помощью стеки и рубанка превращать еловую и кленовую древесину в инструменты, оживавшие при прикосновении смычка к струнам. Он извлекал звуки из мертвого дерева, и не какие-то обычные звуки; его инструменты пели так прекрасно, что не было оркестра от Лондона до Вены, где не звучали бы их голоса.

Когда Альберто вошел в мастерскую Тодеско, тот работал за верстаком – искусник полностью отключился от окружающего мира и даже не заметил прихода нового клиента. Альберто остановился, глядя, как Бруно шлифует резную поверхность еловой заготовки, ласкает ее, точно любовницу. Он отметил неистовую сосредоточенность скрипичного мастера, который всем телом склонялся над будущим инструментом, словно пытался вдохнуть свою душу в дерево, чтобы оно ожило и запело для него. И вдруг у Альберто родилась мысль – ничего подобного прежде не приходило ему в голову. Вот тут перед ним, подумал он, настоящий художник, преданный своему ремеслу. Бруно имел репутацию человека скромных потребностей, предприимчивого и никогда не залезавшего в долги. Синагогу он посещал нерегулярно, но все же появлялся там и непременно почтительно кивал старшим.

Бруно обрабатывал хрупкую заготовку из ели, все еще не зная о посетителе, который внимательно оглядывал мастерскую. Несколько новеньких скрипок были подвешены за головки грифов, на всех уже установлены кобылки и струны – хоть сейчас бери и играй. Под безукоризненно прозрачным стеклом лежали аккуратные ряды коробочек с канифолью, запасных кобылок и комплектов струн. У задней стены мастерской покоились сухие доски в ожидании своей очереди превратиться в инструменты. Повсюду Альберто видел порядок и аккуратность. Он находился в мастерской человека, который не был подвержен пороку небрежности и ценил свои инструменты; человека, для которого явно не было мелочей в жизни. Хотя Бруно не исполнилось еще и сорока, волосы на темени уже поредели, ростом он не вышел, и красавцем его никак нельзя было назвать. Но у него имелось одно важное преимущество.

Он до сих пор ходил в холостяках.

И тут их интересы пересекались. Дочь Альберто Элоиза в тридцать пять лет тоже оставалась свободной. Ни особой красотой, ни уродством она не отличалась, но вот ухажеров у нее не имелось и не предвиделось, и если не

предпринять каких-нибудь действий, придется ей умереть старой девой. Предприимчивый Бруно, погруженный в работу, и не подозревал, что над его шеей зависло супружеское лассо. Альберто хотел внуков, но без зятя они появиться не могли.

Бруно в роли зятя был бы самое то.

На свадьбе восемь месяцев спустя Альберто вынес заслуженную кремонскую скрипку, отремонтированную для него Бруно. Он проиграл радостные праздничные мелодии, которым научил его дед несколько десятилетий назад, те же самые мелодии он впоследствии играл трем детям Элоизы и Бруно. Первенца назвали Марко, он пришел в мир с визгом, молотя ножками и кулачками, уже недовольный жизнью. Три года спустя появился Лоренцо; мальчик почти никогда не плакал, а всегда внимательно слушал, поворачивал голову на любой голос, на любой птичий щебет, на любую ноту, сыгранную Альберто. Восемь лет спустя, когда Элоизе исполнилось сорок семь и она уже уверовала, что ее детородный период позади, в мир проскользнула маленькая Пия, чудо-доченька. Альберто жаждал внуков, и он их получил: двух мальчиков и девочку, и все они оказались гораздо красивее, чем он ожидал, – да и откуда им было взяться, ожиданиям, когда он каждый день видел перед собой их ничем не примечательных родителей?

Но из трех детей только Лоренцо демонстрировал признаки музыкального таланта.

В два года он, один раз услышав мелодию, мог ее пропеть – она глубоко врезалась в его память, как канавки в грампластинку. В пять лет он уже мог сыграть услышанную мелодию на маленькой скрипке, сделанной отцом специально для него в мастерской на Калле-делла-Кьеза. Когда Лоренцо в восемь лет упражнялся в своей комнате, прохожие на Калле-дель-Форно останавливались и слушали музыку, доносившуюся из окна. Немногие из них догадывались, что прекрасные звуки извлекает из детской скрипки детская рука. Лоренцо и его дед Альберто часто играли дуэтом, и мелодии, льющиеся из дома, привлекали слушателей даже из Гетто-Веккьо[4 - Венецианское гетто – район Венеции, где принуждали селиться евреев во времена Венецианской республики. Гетто располагалось в сестьере (так называются районы Венеции, которых всего шесть, откуда и название sestiere – «шестая часть») Каннареджо и разделялось на Новое гетто и Старое гетто (Гетто-Веккьо). На самом деле Новое

гетто старше Старого. – Здесь и далее примеч. перев.]. Некоторых чистые, прекрасные звуки так трогали, что они умывались слезами.

Когда Лоренцо исполнилось шестнадцать, он уже мог играть 24-й каприс Паганини, и Альберто понял: время пришло. Столь сложная в исполнении музыка заслуживала соответствующего инструмента, и Альберто передал свою драгоценную кременскую скрипку в руки мальчика.

– Но это же твоя скрипка, дедушка, – сказал Лоренцо.

– Теперь она принадлежит тебе. Твоего брата Марко музыка не интересует – только политика. Пия предпочтет провести жизнь в тщетных ожиданиях прекрасного принца. А у тебя есть талант. В твоих руках она запоет. – Он кивнул. – Давай, мальчик, послушаем, как ты на ней играешь.

Лоренцо поднял скрипку к плечу. Несколько мгновений он просто держал ее, словно ожидая, что дерево сольется с его плотью. Скрипка вот уже шесть поколений передавалась старшими членами семьи младшим, и подбородник еще помнил, как упиралась в него челюсть его прадеда. Дерево хранило в себе все мелодии, которые когда-то извлекались из него, и теперь пришло время Лоренцо внести свой вклад в копилку скрипичной памяти.

Мальчик провел смычком по струнам, и мурашки побежали по коже Альберто, когда из лакированного елово-кленового корпуса полилась музыка. Первой Лоренцо сыграл цыганскую мелодию, которую выучил в четырехлетнем возрасте; теперь он исполнял ее медленно, чтобы услышать каждую ноту, заставлявшую петь дерево. Потом он сыграл бодрую сонату Моцарта, следом рондо Бетховена, а закончил Паганини. Альберто видел, как внизу, под окном, собираются люди, поднимают головы к прекрасным звукам.

Когда Лоренцо наконец опустил смычок, стихийная аудитория разразилась аплодисментами.

– Да, – пробормотал Альберто, пораженный игрой внука. – О да, она предназначалась тебе.

– Она?

– У нее же есть имя – Ла Дианора, Чародейка. Так ее назвал мой дед, когда начинал играть. Он утверждал, что она противилась ему на каждом такте, на каждой ноте. Хорошо играть он так и не научился и винил в этом только ее, говорил, она, мол, покоряется лишь тем, кому судьбой предназначено владеть ею. Передав ее мне и услышав звуки, которые мне удалось из нее извлечь, он сказал: «Она всегда предназначалась тебе». И сегодня я говорю те же слова тебе.

Альберто положил руку на плечо Лоренцо:

– Она принадлежит тебе, пока ты не передашь ее своему сыну или внуку. Или дочери. – Альберто улыбнулся. – Храни ее, Лоренцо. Она создана, чтобы пережить еще многих, не только тебя.

5

Июнь 1938 года

– У моей дочери прекрасный слух и великолепная техника игры на виолончели, но, боюсь, ей не хватает упорства и прилежания, – сказал профессор Аугосто Бальбони. – Чтобы выявить лучшие стороны музыканта, нет ничего вернее перспективы публичного выступления. Вероятно, именно такая мотивация ей и нужна.

Он посмотрел на Лоренцо:

– Вот почему я подумал о тебе.

– Ну, мальчик? – обратился Альберто к внуку. – Окажешь моему старому другу маленькую услугу – сыграешь дуэтом с его дочерью?

Лоренцо переводил взгляд с Альберто на профессора, отчаянно пытаюсь найти убедительный предлог для отказа. Когда его позвали в гостиную, юноша понятия не имел, зачем там понадобился и почему взрослые не могут попить кофе без него. Мама подала фрукты и печенье, присыпанное сахарной пудрой, –

свидетельство ее почтительного отношения к профессору Бальбони, который был коллегой Альберто и преподавал на музыкальном факультете в Ка-Фоскари[5 - Ка-Фоскари – государственный университет в Венеции.]. Бальбони вшитом на заказ костюме, со светлой львиной гривой выглядел и впечатляюще, и слегка устрашающе. Если Альберто, казалось, усыхал с каждым годом, то Бальбони все еще пребывал в расцвете мужских сил – он оставался человеком необузданного нрава и не менее необузданного аппетита, смеялся он громко и часто. Во время нередких визитов в дом Альберто голос Бальбони доносился до самой спальни Лоренцо на третьем этаже.

– Дед говорит, ты, возможно, примешь участие в музыкальном конкурсе нынешнего года в Ка-Фоскари, – сказал Бальбони.

– Да, синьор. – Лоренцо скосил глаза на Альберто, который лишь снисходительно улыбнулся внуку. – В прошлом году я не смог участвовать в конкурсе – повредил запястье.

– Но теперь-то с рукой все в порядке?

– Он играет даже лучше, чем прежде, – вставил Альберто. – И еще он теперь не бегают как сумасшедший по этим окаянными лестницам.

– Ну и как ты оцениваешь свои шансы выиграть конкурс?

– Не знаю, синьор, – покачал головой Лоренцо. – В конкурсе участвуют несколько превосходных музыкантов.

– Твой дед говорит, лучше тебя нет.

– Ну, он мой дед, потому так и говорит.

Профессор Бальбони рассмеялся:

– Да, каждый видит гения в своей родне! Но я знаю Альберто больше двадцати лет и ни разу не слышал, чтобы он преувеличивал. – Бальбони шумно отхлебнул кофе, поставил чашку на блюдце. – Тебе сколько? Уже восемнадцать?

– В октябре будет девятнадцать.

– Идеально. Моей Лауре семнадцать.

Лоренцо не был знаком с дочерью профессора и представлял ее себе похожей на отца: ширококостной и шумной, с мясистыми руками и толстыми пальцами, колотящими по грифу виолончели, точно молотки. Он смотрел, как профессор Бальбони берет печенье с блюда, вгрызается в него, оставляя на усах сахарную пудру. Своей громадной рукой Бальбони охватывал не только октаву, но и еще три ноты, явно поэтому он и выбрал рояль. На скрипичном грифе такие толстые пальцы лишь мешали бы друг другу.

– Я вот что тебе предлагаю, Лоренцо, – сказал Бальбони, отирая пудру с усов. – Ты окажешь мне большую услугу, и я не думаю, что это будет для тебя таким уж тяжким бременем. До конкурса еще несколько месяцев, времени достаточно, чтобы подготовить дуэт.

– С вашей дочерью.

– Ты и так собирался участвовать в конкурсе в Ка-Фоскари, так почему бы тебе не соединиться с Лаурой и не выступить в категории дуэта скрипка и виолончель? Я думаю, сыграть вы могли бы опус шестьдесят пять Карла Марии фон Вебера или аранжировку опуса пятьдесят один Бетховена – Рондо номер два. Или ты бы мог выбрать одну из сонат Кампаньоли. На своем высоком уровне ты можешь выбрать что угодно. Конечно, Лауре придется поработать, но именно такой толчок ей и требуется.

– Но я не слышал ее, – сказал Лоренцо. – Я не знаю, удастся ли нам сыгаться.

– У вас есть несколько месяцев на репетиции. Наверняка вы оба успеете подготовиться.

Лоренцо представил себе томительные часы, которые придется провести в душной комнате с неуклюжей коровой. Представил, как он исстрадается, слушая вымученные ею ноты и находясь вместе с ней на сцене, когда она возьмется уродовать Бетховена или Вебера. Он наконец понял подоплеку всей затеи. Профессор Бальбони хотел выставить свою дочь в лучшем свете, для чего ей требовался напарник, достаточно опытный, чтобы скрыть ее огрехи. Дед

наверняка понимает ситуацию и избавит его от ненужных терзаний.

Но Альберто посмотрел на Лоренцо с обескураживающе спокойной улыбкой, словно они вдвоем уже обсудили дело и все согласовали. Профессор Бальбони был лучшим другом Альберто, а потому Лоренцо, конечно, придется ответить «да».

– Приходи ко мне в среду к четырем часам, – сказал Бальбони. – Лаура будет тебя ждать.

– Но у меня нет нот, о которых вы говорили. Нужно время, чтобы их найти.

– Они есть в моей личной библиотеке, завтра я дам их твоему деду, чтобы ты порепетировал перед приходом. Если же тебе не понравится моя подборка, у меня есть и другие композиции. Вы с Лаурой наверняка на чем-нибудь сойдетесь.

– А если не сойдемся? Если обнаружится, что мы не подходим друг другу как музыканты?

Дед успокоительно улыбнулся ему.

– Пока мы только разговоры разговариваем. Почему бы тебе для начала не познакомиться с девушкой? – предложил он. – А там уже решишь, хочешь ты продолжать или нет.

В следующую среду около четырех часов Лоренцо со скрипкой перешел по мосту в Дорсодуро – район города, облюбованный профессорами и учеными; здания здесь были куда как солиднее, чем его собственный скромный дом в Каннареджо. Он подошел к дому Бальбони на Фондамента-Брагадин и остановился в испуге перед массивной дверью с медной колотушкой в виде львиной головы. За его спиной в канале плескалась вода, проплывали лодки. На мосту Сан-Вио спорили два человека – никак не могли договориться, кому из них платить за поврежденную стену. За разгоряченными голосами он услышал виолончель. Звуки, казалось, отдавались эхом отовсюду одновременно – от кирпича, камня и поверхности воды. Неужели они зарождались в доме

профессора Бальбони с его стенами цвета янтаря?

Лоренцо размахнулся медной колотушкой и услышал, как гром удара разнесся по дому. Дверь открылась, и перед ним предстала женщина в одежде горничной, она осмотрела его с ног до головы мрачным взглядом.

– Прошу прощения, но меня пригласили к четверем.

– Вы внук Альберто?

– Да, синьора. Я пришел репетировать с синьориной Бальбони.

Женщина кинула взгляд на футляр его скрипки и коротко кивнула:

– Идемте со мной.

Лоренцо последовал за ней по сумеречному коридору мимо портретов мужчин и женщин, мясистые лица которых подсказывали ему, что он видит членов семьи Бальбони. Юноша чувствовал себя самозванцем в величественном доме, его кожаные туфли поскрипывали на полированном мраморном полу.

– Профессор дома? – робко спросил Лоренцо.

– Скоро придет.

Звуки виолончели становились все громче, казалось, сам воздух резонирует нотами.

– Он велел начинать репетировать без него, – добавила горничная.

– Мы с синьориной Бальбони не представлены.

– Она ждет вас. В представлениях нет нужды.

Горничная открыла двойную дверь, и их, словно сладкий мед, обволокла музыка.

Лаура Бальбони сидела у окна спиной к нему. В ярком солнце виделся только ее силуэт, наклоненная голова, вывернутые вперед плечи, словно обнимающие инструмент. Она играла, не зная, что он слушает, критически оценивает каждую ноту, извлекаемую из виолончели. Техника ее была не идеальна. Он время от времени слышал фальшивую ноту, а шестнадцатые она проигрывала неровно. Но она так яростно ударяла по струнам, ее смычок врезался в них с такой уверенностью, что даже ошибки казались преднамеренными, каждая нота бралась без малейших извинений. В этот момент Лоренцо не волновало, как она выглядит. Пусть у нее ослиная физиономия и коровьи бедра – имеет значение лишь музыка, которую она высекает из струн с такой страстью, что виолончель, кажется, вот-вот воспламенится.

– Синьорина Бальбони, молодой человек пришел, – объявила горничная.

Смычок внезапно замер. Несколько мгновений девушка сидела в прежней позе, словно не желая разрывать объятие. Потом она выпрямилась на стуле, повернулась и посмотрела на него.

– Так-так, – сказала она после паузы. – Вопреки моим предположениям, вы не слишком похожи на гоблина.

– Так вам описал меня ваш отец?

– Папа вообще вас не описывал. Поэтому я и ждала худшего. – Она кивнула горничной. – Спасибо, Альда. Можете закрыть дверь, чтобы мы вам не мешали.

Горничная вышла, и Лоренцо остался наедине с этим странным существом. Он ожидал увидеть краснолицего, с бычьей шеей профессора Бальбони в юбке, а видел девушку необыкновенной красоты. Ее длинные волосы, в которых запутались солнечные лучи, отливали золотом, солнце высветило и более темные волосы под золотыми прядями. Она смотрела прямо на Лоренцо, но он никак не мог понять, какого цвета у нее глаза – голубые или зеленые, и ее взгляд настолько отвлек его, что он не сразу обратил внимание на руки, исполосованные узловатыми старыми шрамами. Потом он все же увидел поврежденную кожу и, хотя быстро перевел взгляд на лицо, потрясения скрыть не сумел. Любая другая девушка с изуродованными кистями покраснела бы, или отвернулась, или скрестила руки, чтобы скрыть увечье. Но Лаура Бальбони ничего такого не сделала. Она держала руки на виду, словно гордясь ими.

– Вы превосходно играете, – сказал он.

– Кажется, вас это удивляет.

– Откровенно говоря, я не знал, чего ожидать.

– И что вам сказал обо мне мой отец?

– Почти ничего. Это, если честно, и вызвало у меня подозрения.

– Вы тоже предполагали увидеть какое-нибудь страшилище?

Он рассмеялся:

– Если откровенно, то да.

– А что вы думаете теперь?

Что он думал? Природа, безусловно, не обделила ее красотой и талантом, но было в ней и какое-то пугающее свойство. Он никогда не встречал девушку столь прямолинейную и под ее пронзительным взглядом не смог найти нужных слов.

– Бог с ним. Можете не отвечать. – Она кивнула на футляр скрипки. – Так вы собираетесь доставать ваш инструмент?

– Вы и в самом деле хотите играть дуэтом?

– Если только вы не предпочли бы заняться со мной чем-нибудь другим.

Лоренцо покраснел и быстро принялся расчехлять скрипку. Он чувствовал: она изучает его, и попытался представить себе, насколько дурное впечатление производит – высокий, тощий, в поношенных туфлях, с потертым воротником. Он не особо тщательно оделся к сегодняшнему визиту, поскольку не имел ни малейшего намерения произвести хорошее впечатление на страшилую Лауру. Но теперь, увидев ее, он горько пожалел, что не надел хорошую рубашку, не

вычистил туфли. Он с потерянным видом настроил скрипку и для разогрева пальцев быстро сыграл несколько арпеджио.

– И почему вы согласились? – спросила она.

Он сосредоточенно натирал канифолью смычок.

– Ваш отец решил, что из нас получится отличный дуэт, и я согласился.

– Просто потому, что он вас попросил?

– Он друг и коллега моего деда...

– Значит, вы не могли отказаться. – Она вздохнула. – Вы должны быть со мной откровенны, Лоренцо. Если вам это против шерсти, скажите сейчас. А я скажу папе, что решение принимала я, а не вы.

Он заглянул ей в глаза и больше не смог отвернуться. Да и не хотел.

– Я пришел, чтобы играть, – сказал он. – И я думаю, этим мы и должны теперь заняться.

Она коротко кивнула:

– Тогда, может, начнем с Вебера? Просто чтобы понять, насколько согласуется звучание наших инструментов.

Лаура положила на пюпитр перед собой партитуру. Он не взял свой пюпитр, а потому встал у нее за спиной, чтобы читать страницу через ее плечо. Они находились очень близко друг к другу, и он ощущал ее запах, сладкий, как лепестки розы. Он отметил буфы с кружевными манжетами на коротких рукавах ее блузки, изящную цепочку с крохотным крестиком на шее, чуть выше верхней пуговицы блузки. Он знал, что Бальбони – католики, но при виде крестика, сияющего на ее коже, у него перехватило дыхание.

Прежде чем он успел прижать скрипку подбородком, Лаура проиграла четыре первых такта. Она следовала темповой инструкции «модерато», и

вступительные ноты прозвучали сочно и вдумчиво. Пусть и изувеченные уродливыми шрамами, ее руки умели извлекать из виолончели волшебные звуки. Он пытался понять, как она получила ожог. Ребенком свалилась в камин? Вывернула на себя с плиты кастрюлю с кипятком? Если другие девочки носили блузки с длинными рукавами, то Лаура смело демонстрировала свой изъян.

На пятом такте его скрипка подхватила мелодию. Они слились в идеальной гармонии, смешали два голоса в один, который звучал гораздо величественнее, чем просто голоса двух инструментов, сложенные вместе. Фон Вебер хотел бы слышать свое творение именно в таком виде! Но композиция была короткая, и они слишком быстро подошли к последнему такту. И даже когда оба оторвали смычки от струн, последние ноты, казалось, повисли в воздухе жалобным вздохом.

Лаура посмотрела на него, ее губы удивленно приоткрылись.

– Я и не подозревала, что эта пьеса так прекрасна.

– И я тоже, – согласился он, глянув на ноты на ее пюпитре.

– Пожалуйста, давайте сыграем еще раз.

У него за спиной раздалось покашливание. Лоренцо повернулся и увидел горничную Альду – она стояла с подносом с чашками и печеньем. На него она даже не посмотрела – только на Лауру.

– Вы просили чаю, синьорина Бальбони.

– Спасибо, Альда, – сказала Лаура.

– Профессор Бальбони уже должен вернуться.

– Вы же его знаете. Папа не подчиняется никаким расписаниям. Да, Альда, я предполагаю, что за обедом сегодня нас будет трое.

– Трое? – Только теперь горничная удостоила Лоренцо взглядом. – Молодой человек останется на обед?

– Извините, Лоренцо. Я не спросила вас, – сказала Лаура. – Может, у вас другие планы на вечер?

Он перевел взгляд с горничной на девушку и назад, почувствовал, что напряжение в комнате сгущается в нечто плотное и уродливое. Он подумал о матери, которая теперь, наверно, готовит обед. И о золотом крестике на шее Лауры.

– Моя семья ждет меня к обеду. К сожалению, я вынужден отказаться, – сказал он.

Губы Альды скривились в довольной улыбке.

– Значит, обед, как обычно, на двоих, – сказала она и вышла из комнаты.

– Вы так спешите домой? У вас есть время, чтобы сыграть со мной еще пару вещей? – спросила Лаура. – Мой отец предлагал Кампаньоли или Рондо Бетховена. Хотя, должна признаться, и то и другое мне не очень нравится.

– Тогда нам следует выбрать что-нибудь еще.

– Но ничего больше я не готовила.

– А не хотите попробовать какую-нибудь вещь, которую вы не готовили?

– Что вы имеете в виду?

Лоренцо вытащил из бокового кармана скрипичного футляра два листочка с нотами и закрепил их на пюпитре Лауры.

– Вы ведь играете с листа.

– «Ла Дианора», – прочла она, нахмурившись. – Занятое название для мелодии.

Она взяла смычок и с интересом сыграла первый такт.

– Нет-нет, вы играете слишком быстро. Возьмите темп адажио. Если начнете в таком темпе, при переходе на престо никто не заметит разницы.

– Откуда мне это знать? – отрезала она. – Тут нигде не написано «адажио». К тому же я впервые вижу эту композицию.

– Конечно впервые. Я ее сегодня закончил.

Она удивленно моргнула:

– Так вы ее сами сочинили?

– Да.

– А почему назвали «Ла Дианора» – «Чародейка»?

– Так зовут мою скрипку – Ла Дианора. Я все еще переделываю вторую часть – она пока не звучит так, как я хочу, но думаю, что в общем мелодия притягательна. Кроме того, такая аранжировка позволит проявиться обоим нашим инструментам – немалый плюс на конкурсе дуэтов.

– Ах, этот ужасный конкурс! – вздохнула Лаура. – Ну почему все сводится к выяснению, кто лучший, кто первый? Я бы хотела играть просто ради удовольствия.

– А сейчас вы не получаете удовольствия?

Лаура задумалась на секунду, глядя на ноты.

– Да, – сказала она, и голос ее прозвучал удивленно. – Да, получаю. Но конкурс, висящий над нами как дамоклов меч, он все меняет.

– Почему?

– Потому. Сейчас мы просто получаем удовольствие. Тут дело в гордыне. Вы должны знать кое-что обо мне, Лоренцо. Я не люблю проигрывать. Никогда. –

Она посмотрела на него. – Если мы будем участвовать в конкурсе, я собираюсь его выиграть.

6

Каждую среду в течение двух следующих месяцев Лоренцо проходил по мосту в Дорсодуро. В четыре часа он стучал в дверь на Фондамента-Брагадин, и ему открывала горничная, с лица которой не сходило кислое выражение. Они с Лаурой репетировали «Ла Дианору», прерывались на чаепитие с печеньем, иногда к ним присоединялся профессор Бальбони. После они играли, что им нравилось, но к концу непременно возвращались к «Ла Дианоре» – они уже решили играть ее на конкурсе.

Партия виолончели никак не давалась Лауре. Он видел это по ее лицу: глубокие морщины появлялись на лбу, челюсть обретала квадратную форму.

– Еще раз! – требовала она, споткнувшись на трудном пассаже. И после каждой очередной ошибки: – Еще раз! Еще раз!

Неистовость девушки подчас пугала его. Когда после часа борьбы с треклятым пассажем Лауре удавалось наконец сыграть его без запинки, она разражалась довольным смехом. На протяжении одной встречи она могла удивлять, разочаровывать и очаровывать его.

Среда больше не была похожа на другие дни недели. Теперь среды стали для него днями Лауры, когда он входил в ее дом, в ее мир и забывал о своем собственном. Когда он сидел с ней нога к ноге, видел сверкающие капельки пота на ее лице и слышал ее мягкое дыхание при ударах смычком по струнам. Дуэт – нечто гораздо большее, чем совместная игра двух инструментов. Это еще и единение в идеальной гармонии, такое полное слияние мыслей и сердец, что ты точно предвосхищаешь мгновение, когда твой напарник поднимет смычок, отпуская в небытие последнюю ноту.

По мере приближения конкурса музыканты тоже приближались – к совершенству. Лоренцо представлял их двоих на сцене в Ка-Фоскари: в свете

прожекторов сверкают их инструменты, платье Лауры стелется по полу вокруг стула. Он воображал себе их безупречную игру и торжествующую улыбку на ее лице. На сцене они с Лаурой возьмутся за руки и будут кланяться и кланяться под аплодисменты публики.

Потом они поднимут инструменты и попрощаются. И все закончится. Больше не будет репетиций, не будет сред с Лаурой.

«Нужно запомнить это мгновение. Когда мы пойдем каждый своим путем, что мне останется от нее? Только воспоминания».

– Бога ради, Лоренцо! – возвращала она его к действительности. – Где сегодня твоя голова?

– Извини. Упустил, в каком мы такте.

– В двадцать шестом. Ты сделал тут что-то странное, и мы потерялись. – Она нахмурилась, глядя на него. – Что-то случилось?

– Ничего. – Он покрутил плечом, помассировал шею. – Просто мы уже несколько часов репетируем.

– Прервемся еще раз на чай?

– Нет, давай дальше.

– Ты торопишься уйти?

Меньше всего хотелось ему уходить от нее, но время уже приближалось к восьми, и с кухни доносился запах ужина.

– Уже поздно. Не хочу стать назойливым гостем.

– Понимаю. – Она вздохнула. – Ну ладно. Я знаю, тебе тяжело сидеть со мной взаперти.

– Прости, что?

– Нам не обязательно нравиться друг другу. Мы просто должны хорошо вместе играть.

– Почему ты думаешь, будто мне не нравится быть с тобой?

– Разве это не очевидно? Я три раза приглашала тебя остаться на ужин. И ты каждый раз отказывался.

– Лаура, ты не понимаешь...

– Что я должна понимать?

– Я считал твои приглашения просто данью вежливости.

– Для вежливости достаточно одного приглашения. А три приглашения явно выходят за рамки обычной вежливости.

– Извини. Я знаю, Альда недовольна, когда я здесь, а я не хочу усложнять обстановку.

– Альда тебе говорила что-нибудь такое?

– Нет. Но я же вижу ее лицо. Вижу, как она смотрит на меня.

– Так ты, значит, умеешь читать мысли. Посмотришь на Альду и точно знаешь, что у нее на уме. И боже мой, она относится к тебе неодобрительно, а потому ты, конечно же, не осмеливаешься принимать мои приглашения. Неужели тебя так легко обескуражить?

Он уставился на нее, уязвленный правдивостью ее слов. Уж Лауру-то так легко не испугаешь. Он никогда не будет таким смелым, как она. Настолько смелым, чтобы носить уродливые шрамы, словно алые флаги. Теперь она бросает ему вызов: сравняйся со мной в смелости, скажи, что у тебя в голове, не думая о последствиях.

Лаура угрюмо отставила виолончель.

– Ты прав, – сказала она. – Уже поздно. Встретимся на следующей неделе.

– Да нет же, мне нравится быть с тобой, Лаура. Если хочешь знать, нет другого места, где мне хотелось бы быть так, как здесь.

– Правда? Я слышу слова настоящего Лоренцо? Или Лоренцо-дипломата, который пытается сказать что-нибудь вежливое, чтобы меня не обидеть?

– Я говорю правду, – тихо сказал он. – Всю неделю я жду среды, жду встречи с тобой. Но я не умею высказывать свои мысли так ловко, как ты. Ты самая смелая девушка, с какими мне доводилось встречаться. – Лоренцо уставился на свои туфли. – Знаю, я слишком робок, такой характер. Все боюсь сказать или сделать что-нибудь не то. Если я и чувствую себя смелым, по-настоящему смелым, то лишь в то время, когда играю на скрипке.

– Ну хорошо. Мы будем играть. – Она взялась за виолончель и смычок. – И может быть, сегодня тебе хватит смелости остаться на ужин.

– Вина. Выпьем еще вина! – сказал профессор Бальбони, наполняя бокалы.

В четвертый или пятый раз? Лоренцо потерял счет, но какое это имело значение? Весь вечер превратился в одну долгую счастливую неразбериху. Под музыку Дюка Эллингтона, лившуюся из фонографа, они ели приготовленный Альдой превосходный суп с мелко нарезанными овощами. После супа Альда подала фегато[б - Фегато – жареная печень, приготовленная по особому итальянскому рецепту.] с картофелем, а завершили пиршество сладкий пирог, фрукты и орешки. Никогда Лоренцо не получал такого удовольствия от еды, которая казалась еще вкуснее благодаря людям, с которыми он ее делил. Лаура сидела напротив, не пряча своих обнаженных рук, и шрамы больше не пугали его. Напротив, шрамы были еще одной причиной восторгаться Лаурой. Они являли ее мужество, ее готовность не прятать от мира свое истинное «я» и не извиняться за него.

Отец Лауры с его дерзкими заявлениями и грубоватым смехом отличался такой же откровенностью. Профессор Бальбони хотел знать мнение гостя обо всем на свете. О джазе. Кого он предпочитает – Луиса Армстронга или Дюка Эллингтона? Играет ли, по его мнению, скрипка какую-нибудь роль в современной музыке?

И вдруг:

– Какие у тебя планы на будущее?

Будущее? Лоренцо почти не видел будущего дальше конкурса через три недели.

– Я хочу поступить в Ка-Фоскари, как мой брат Марко, – ответил он.

– И что ты собираешься изучать?

– Марко посоветовал мне изучать управление. Он сказал, на эту профессию есть спрос.

– Изучать такую скукотищу? – фыркнул профессор Бальбони. – Ты же себя живьем похоронишь. Твое призвание – музыка. Ты ведь уже даешь уроки игры на скрипке?

– Да, синьор, у меня семь учеников, им всем по восемь-девять лет. Отец считает, что мы должны объединить наши дела: я обучаю игре на скрипке, а он обеспечивает моих учеников инструментами. Он хочет, чтобы со временем я занял его место в мастерской, но из меня вряд ли получится хороший скрипичный мастер.

– Ты ведь не столяр, а музыкант. Твой дед понял это, когда ты был еще ребенком. Ты наверняка нашел бы место в оркестре. А может, тебе стоит подумать о загранице, скажем об Америке.

– Об Америке? – Лоренцо рассмеялся. – Ну и фантазии!

– А почему бы не помечтать? Такое вполне вероятно.

– Я не могу оставить семью.

Лоренцо посмотрел на Лауру, сидящую напротив него, и мысленно добавил: «Я не могу оставить ее».

– Я правда считаю, что тебе стоит подумать об эмиграции, Лоренцо. Страна меняется. И меняется очень быстро. – Профессор Бальбони неожиданно понизил голос: – Мы живем в плохие времена. Я говорил с Альберто о других возможностях, о местах, где могла бы обосноваться твоя семья.

– Мой дед никогда не оставит Италию, а отец не бросит дело. У него здесь репутация, верные клиенты.

– Да, его бизнес пока, вероятно, в безопасности. Первокласные скрипичные мастера не рождаются в одну ночь, и заменить его будет непросто. Но кто знает, что затеет власть завтра? Какие еще декреты выпустит министр внутренних дел?

– Марко твердит то же самое, – кивнул Лоренцо. – Каждый день какие-нибудь новости выводят его из себя.

– Значит, твой брат следит за развитием событий.

– Отец говорит, нам не о чем беспокоиться. Он говорит, эти декреты – политические игры, показуха, а власть никогда не обратится против нас. Мы должны доверять Муссолини.

– Почему?

– Муссолини знает: мы лояльные граждане. Он много раз повторял, что в Италии еврейского вопроса не существует. – Лоренцо уверенно отхлебнул вина. – Италия – не Германия.

– Так говорит твой отец?

– Да. И мой дед. Они считают, Муссолини всегда будет нас поддерживать.

– Ну, может быть, они и правы. Надеюсь. – Профессор Бальбони откинулся на спинку стула, словно лишился сил, поддерживая живой разговор. – Ты оптимист, Лоренцо, как и твой дед. Вот почему мы с Альберто такие близкие друзья. Он всегда весел и полон песен, неизменно жизнерадостен, даже в трудные времена.

Но сегодняшний вечер явно относится к хорошим временам, подумал Лоренцо. Да разве может быть иначе, когда Лаура улыбается ему, вино течет рекой, а из фонографа доносится великолепный джаз? Даже холодное выражение на лице Альды не могло испортить ему настроение – он наслаждался, сидя за столом в доме Бальбони.

Лоренцо вышел на улицу уже далеко за полночь. Он шел по пустым улицам в свой район Каннареджо, не беспокоясь об опасностях, которые могут подстергать его на пути, не думая о том, что на него может напасть банда бродячих головорезов. Нет, сегодня фортуна улыбалась ему, и он шел в защитном облаке счастья. Его приняли в семье Бальбони как друга? похвалили как музыканта. Сама Лаура проводила его до двери, и до сих пор перед его мысленным взором стояла она в прямоугольнике света и махала ему на прощание. Он все еще слышал ее голос: «До среды, Лоренцо!»

Входя в свой дом и вешая на крючок плащ и шляпу, он напевал себе под нос мелодию «Ла Дианоры».

– С чего ты так дьявольски весел сегодня? – спросил Марко.

Лоренцо повернулся и в дверях кухни увидел брата. Он не удивился тому, что Марко еще не спит, – тот, казалось, оживал только с наступлением темноты и половину вечера проводил в спорах о политике с друзьями или внимательно читал последние газеты и брошюры. Волосы Марко стояли торчком, словно он взъерошил их пятерней. Вид у него сегодня был бандитский, лицо небритое, майка навывпуск и в пятнах.

– Мама и Пия волновались, где ты, – сказал Марко.

– После репетиции меня пригласили на ужин.

– Пригласили? Теперь?

– Я прекрасно провел время. Лучший вечер в моей жизни!

– И больше тебе ничего не нужно для счастья? Позволили остаться на ужин в их доме – и ты уже счастлив?

– Не позволили – пригласили. Чувствуешь разницу?

Лоренцо двинулся к лестнице, но Марко ухватил его за руку:

– Смотри осторожнее, братишка. Ты, вероятно, думаешь, что они на нашей стороне, но так ли оно на самом деле?

Лоренцо вырвался:

– Не все против нас, Марко. Некоторые люди на нашей стороне.

Он унес скрипку в свою чердачную спальню и открыл окно, чтобы впустить свежий воздух. Даже Марко не мог сегодня испортить ему настроение. Ему хотелось петь, криком сообщить миру о том, какой прекрасный вечер он провел с Лаурой и ее отцом. В доме Бальбони, где текло вино, играл джаз и все казалось возможным, жизнь представлялась гораздо счастливее и ярче. «А почему бы не помечтать?» – спросил его профессор Бальбони.

И Лоренцо, лежа в кровати той ночью, мечтал. Он позволил себе мечтать об Америке, о Лауре, об их совместном будущем. Да, все казалось возможным.

До следующего дня, когда профессор Бальбони принес в их дом новость, которая изменила их жизни.

– Почему Ка-Фоскари так поступает со мной? – спрашивал Альберто. – Я преподаю там тридцать пять лет! А они увольняют меня без всяких причин, без предупреждения!

– Предупреждений было более чем достаточно, дед, – сказал Марко. – Все последние месяцы я указывал тебе на них. Ты видел передовицы в «Тевере», в «Куадривии».

– Тоже мне газеты! Помойка, где пишут только расистскую дрянь. Никто не верил в реальные изменения.

– Ты читал манифест ученых[7 - По мере сближения Италии и Германии Муссолини копировал антисемитские законы и политику Германии. «Расовый манифест» – один из таких примеров, опубликован 14 июля 1938 года, его подписали преподаватели самых престижных итальянских университетов.]. Совершенно недвусмысленное предупреждение о грядущих переменах. А теперь эти предупреждения воплощаются в жизнь.

– Но чтобы колледж уволил меня без всяких оснований?

– У них есть свои основания. Ты еврей – больше им ничего и не нужно.

Альберто посмотрел на своего коллегу Бальбони, который сидел, покачивая головой. За обеденным столом собралась вся семья, но ни еды, ни выпивки на столе не было: мать Лоренцо так расстроило неприятное известие, что она даже забыла об обязанностях хозяйки и теперь безвольно сидела на стуле, потрясенная и потерявшая дар речи.

– Это наверняка временная мера, – сказал отец Лоренцо. – Ничего не значащий жест в угоду Берлину.

Бруно, который всегда сочувствовал Муссолини, отказывался верить, что дуче будет преследовать евреев.

– А профессор Леоне? – спросил он. – У него жена не еврейка, так ей что – тоже страдать? Помяните мое слово, через несколько недель все это отменят. Колледж не сможет функционировать без еврейского факультета.

Марко разочарованно взмахнул руками:

– Папа, ты разве не читал меморандум? Приказ распространяется и на учащихся. Евреев теперь исключают из всех итальянских школ!

– Одно небольшое послабление все-таки есть, – сказал профессор Бальбони. – Они сделали исключение для выпускников, и тебе, Марко, разрешат доучиться. А вот Лоренцо... – Он отрицательно покачал головой: – Ему не дадут поступить ни в Ка-Фоскари и ни в какой другой университет Италии.

– Даже если позволят закончить, какой мне прок от моей степени? Теперь никто не примет меня на работу.

В глазах Марко появились слезы, и он отвернулся. Он так усердно учился, всегда знал, каким путем пойдет в жизни. Он будет служить Италии, как его герои – Вольпи и Луццатти[8 - Джузеппе Вольпи (1877–1947) – итальянский бизнесмен и политик, активный участник фашистского движения. Луиджи Луццатти (1841–1927) – итальянский политик еврейского происхождения, в 1910–1911 годах занимал пост премьер-министра.]. Он мечтал о карьере дипломата и размышлял, какие языки ему следует изучать, прикидывал, в каких странах ему придется работать. В восемь лет он приклеил к стене в своей спальне карту мира, по которой так часто скользили его пальцы, что некоторые места протерлись до обоев. Теперь его надежды умерли – Италия предала его, Италия предала их всех.

Марко раздраженно потер глаза:

– И посмотрите, как они поступили с беднягой-дедушкой! Он полжизни преподавал в Ка-Фоскари, а теперь он ничто.

– Он все еще учитель, Марко, – возразил Бальбони.

– Учитель без дохода. Впрочем, евреям не обязательно есть. Мы ведь можем питаться воздухом!

– Марко, – остерегла его мать, – будь вежлив. Профессор Бальбони ни в чем не виноват.

– И что он со своими коллегами будет делать?

– Мы все, конечно, в ужасе, – сказал Бальбони. – Мы сочинили протест. Я его подписал, как и десятки других преподавателей факультета.

– Десятки? Не все?

Бальбони опустил голову:

– Нет. Некоторые боятся последствий, если подпишут... – Он пожал плечами. – Ну, они все равно никогда не были твоими друзьями. А теперь ходят слухи, что грядут и другие дурные новости. Предлагаются новые законы, которые ограничат деятельность евреев в других областях. Я вам говорю, все это вытекает из манифеста ученых. После него и начались безумства. Он дал санкцию винить евреев во всех неприятностях в стране.

Манифест, опубликованный месяцем ранее в «Джорнале д'Италия», привел Марко в ярость. Он вбежал в дом, размахивая газетой и крича: «Теперь они говорят, будто мы не настоящие итальянцы! Мы теперь чужеземная раса!» С тех пор он почти ни о чем другом не говорил. Приносил домой газеты и брошюры, размышлял над ними по ночам, подкармливая свою злость. Каждый семейный обед превращался в сражение, поскольку его дед и отец оставались лояльными к фашистам и не хотели верить, что Муссолини будет преследовать евреев. За обедом велись очень жаркие споры, и один раз мама швырнула нож на стол и заявила: «Хватит! Если хотите поубивать друг друга, возьмите нож! По крайней мере, наступит тишина!»

Теперь за столом грозила разыгаться очередная буря, и Лоренцо увидел, как налились вены на шее брата, как мать вцепилась в стол согнутыми, будто когти, пальцами.

– Должен быть способ обжаловать этот меморандум, – сказал Альберто. – Я напишу письмо в газету.

– О да, – фыркнул Марко. – Твое письмо все изменит!

Бруно дал сыну подзатыльник:

– А что сделаешь ты? Ты такой умный, Марко, у тебя наверняка есть на все ответ!

– Я, по крайней мере, не слеп и не глух, как все остальные члены нашей семьи!

Марко встал, отшвырнув стул так, что он перевернулся. Не подняв стул, Марко бросился вон из комнаты.

Пия вскочила и пустилась за ним.

– Марко! – крикнула она. – Пожалуйста, не уходи. Я не могу, когда вы все так ссоритесь!

Все слышали, как она выбежала из дома, как звала брата, как пыталась догнать его. Десятилетняя Пия была в семье настоящим дипломатом, она всегда переживала, когда они спорили, всегда пыталась вести мирные переговоры. Ее голос звучал все тише, но все слышали, как она умоляет брата вернуться.

А в доме воцарилась долгая и тяжелая тишина.

– И что нам теперь делать? – тихо спросила Элоиза.

Профессор Бальбони покачал головой:

– Вы в этой ситуации бессильны. Мы с коллегами подадим петицию в администрацию колледжа. Некоторые из нас тоже пишут письма в газеты, но вряд ли их кто-то опубликует. Все нервничают, все боятся ответной реакции. К несогласным власти могут применить репрессии.

– Мы должны громко и публично заявить о своей лояльности, – сказал Альберто. – Напомнить им обо всех наших заслугах перед страной. Обо всех войнах, в которых мы защищали Италию.

– От этого будет мало проку, мой друг. Ваш еврейский союз выпускает пресс-релиз за пресс-релизом, заявляя о своей лояльности. И каков результат?

– Тогда что еще мы можем сказать? Что сделать?

Профессор Бальбони взвесил следующие слова, и все его тело, казалось, просело под грузом ответа:

– Вам нужно подумать об эмиграции.

– Оставить Италию? – Альберто от ярости одеревенел на своем стуле. – Моя семья прожила здесь четыреста лет. Я такой же итальянец, как и ты!

– Я с тобой не спорю, Альберто. Я только даю совет.

– Какой совет? Оставить страну? Неужели ты совсем не ценишь нашу дружбу, неужели готов выпихнуть нас на следующем пароходе?

– Прошу тебя, ты не понимаешь...

– Чего я не понимаю?

Профессор Бальбони перешел на шепот:

– Ходят всякие слухи. Мои зарубежные коллеги сообщают...

– Да, мы все знаем эти слухи. Их распространяют сумасшедшие сионисты, чтобы натравить нас на власть.

– Но мне рассказывают разные истории люди, в чьей умеренности я ничуть не сомневаюсь, – возразил профессор Бальбони. – Они рассказывают о том, что происходит в Польше. Сообщают о массовых депортациях.

– Куда? – спросила Элоиза.

– В трудовые лагеря. – Бальбони посмотрел на нее. – Отправляют женщин и детей. На возраст и не смотрят, на состояние здоровья тоже – людей арестовывают и вывозят. Захватывают их дома и собственность. Мне рассказывают такие ужасные вещи, что в них невозможно поверить, и я их не буду повторять. Но если такое происходит в Польше...

– Здесь этого не случится, – сказал Альберто.

– Ты слишком доверяешь власти.

– Ты и в самом деле думаешь, будто мы можем оставить Италию? И куда мы все поедем?

– В Португалию или Испанию. Или в Швейцарию.

– А на что мы будем жить в Швейцарии? – Альберто показал на своего зятя, который явно пытался осмыслить новый поворот в их жизни. – У Бруно здесь многолетние клиенты. Он всю жизнь зарабатывал себе репутацию.

– Никуда мы не уедем, – категорически заявил Бруно; он сел прямо и посмотрел на жену. – Твой отец прав. С какой стати нам уезжать? Мы ничего плохого не сделали.

– Но как быть со слухами? – спросила Элоиза. – Ты представь себе Пию в трудовом лагере...

– Ты думаешь, лучше, если она будет голодать в Швейцарии?

– Боже мой, я не знаю, как нам быть.

Но Бруно знал. Здесь был его дом, и хотя он редко заявлял о себе как о главе семьи, теперь ясно дал понять, кто здесь принимает решения.

– Я не брошу все, ради чего работал. Здесь моя мастерская, мои клиенты. И у Лоренцо здесь ученики. Вместе мы как-нибудь переберемся.

Альберто положил руку на плечо зятя:

– Хорошо. Значит, мы с тобой единомышленники. Мы остаемся.

Бальбони вздохнул:

– Я понимаю, насколько ужасно мое предложение покинуть страну, но я не мог не высказаться. Если события пойдут быстрее, если условия неожиданно ухудшатся, другого шанса уехать может и не представиться. Я думаю, сейчас – лучшее время для отъезда. – Он поднялся. – Извини, я принес тебе дурную весть, мой друг. Но я хотел тебя подготовить, прежде чем ты узнаешь об этом от кого-то другого.

Он посмотрел на Лоренцо:

– Идем, молодой человек, проводи меня. Поговорим о твоих репетициях с Лаурой.

Лоренцо последовал за ним, они двинулись к каналу, но профессор молчал. Он, казалось, погрузился в свои мысли, шел нахмурившись и сцепив за спиной руки.

– Я тоже не хочу уезжать из Италии, – сказал Лоренцо.

Бальбони бросил на него рассеянный взгляд, словно удивляясь тому, что Лоренцо все еще идет рядом.

– Конечно, ты не хочешь. Никто не хочет отрываться от корней. Я и не ждал от тебя других слов.

– И все же вы советуете уехать.

Профессор Бальбони остановился на узкой улице, повернулся к нему:

– Ты, Лоренцо, рассудительный молодой человек. В отличие от твоего брата Марко. Я боюсь, он совершит какой-нибудь опрометчивый поступок и на всех вас обрушится несчастье. Твой дед всегда был о тебе высокого мнения. Я сам убедился: ты подаешь надежды как выдающийся музыкант. Поэтому я прошу тебя внимательнее относиться к происходящему вокруг. Несмотря на все недостатки твоего брата, он, по крайней мере, видит тенденцию развития страны. Ты тоже должен ее видеть.

– Тенденцию?

– Ты не заметил – все газеты теперь говорят в один голос, голос, который поднимается против евреев? И с годами он становится все громче. Передовая статья там, официальное заявление здесь. Словно мы имеем дело с тщательно спланированной кампанией.

– Дед говорит, это крики невежественных людей.

– Опасайся невежественных, Лоренцо. Они – самый опасный враг, потому как они повсюду.

Они не упоминали недавний приказ, когда Лоренцо пришел в следующую среду на репетицию. И в среду после следующей. Он оба раза обедал с Бальбони, но говорили только о музыке – о последних услышанных записях. Что Лоренцо думает о Шостаковиче? Собирается ли кто-нибудь посмотреть новую музыкальную комедию с Витторио Де Сика? И как печально известие о смерти знаменитого скрипичного мастера Ореста Канди в Генуе. Они словно изо всех сил избегали разговоров о грозowych тучах, собирающихся над их головой, а потому болтали о вещах приятных и тривиальных.

Но запретная тема все равно витала в комнате в виде мрачного лица Альды, которая молча входила и выходила, убирала стол между блюдами. Лоренцо не мог понять, почему Бальбони держат в доме эту угрюмую женщину. Он предположил, что Альда была с семьей еще до рождения Лауры в роли персональной горничной Лауриной матери, умершей от лейкемии десять лет назад. Возможно, за прошедшие годы Бальбони просто привыкли к ее каменному лицу, как люди привыкают к косолапости или боли в коленном суставе.

За три дня до конкурса Лоренцо в последний раз обедал в доме Бальбони.

Генеральная репетиция прошла превосходно, просто великолепно, и профессор вскочил на ноги и принялся аплодировать.

– Всем остальным дуэтам до вас как до луны! – провозгласил он. – Ваши инструменты – словно две слившиеся души, поющие в один голос. Почему бы нам сегодня не отпраздновать вашу победу? Я открою специальную бутылку вина.

– Но мы еще не победили, папа, – сказала Лаура.

– Пустая формальность. Они уже должны вписывать в диплом ваши имена.

Бальбони налил вина, протянул бокалы дочери и Лоренцо.

– Если будете играть так, как сегодня, то не победить просто не сможете. – Он подмигнул. – Я знаю – я слышал других конкурсантов.

– Как, папа? Когда? – спросила Лаура.

– Сегодня в колледже. Профессор Веттори консультировал некоторые дуэты. Когда они играли, я случайно оказался рядом с репетиционной.

– Папка озорник!

– Виноват, я не заткнул уши. Они играли ужасно громко, и я слышал каждую фальшивую ноту. – Он поднял бокал. – Ну, кто скажет тост?

– За победу! – воскликнула Лаура.

– За компетентное судейство! – подхватил отец.

Лаура улыбнулась Лоренцо. Он никогда не видел ее такой красивой – ее лицо раскраснелось от вина, волосы в свете лампы походили на жидкое золото.

– А ты какой тост предложишь? – спросила она.

«За тебя, Лаура, – подумал он. – За каждый драгоценный миг, проведенный нами вместе».

Лоренцо поднял бокал:

– За то, что нас соединило. За музыку!

Лоренцо помедлил у двери дома Бальбони, вдыхая влажный вечерний воздух. Задержавшись на холодке, он слушал, как плещется вода в канале, и пытался навсегда запомнить каждое мгновение прошедшего вечера. Сегодня он в последний раз посетил этот дом и потому не спешил уходить. Чего ему теперь ждать? Теперь, когда Ка-Фоскари для него закрыт, он видел впереди только бесконечные дни в мастерской, где будет работать за верстаком, делать инструменты для других музыкантов. Он состарится в мрачном и пыльном пространстве мастерской, превратится в худую угрюмую версию своего отца Бруно, а Лаура будет жить дальше. Она поступит в колледж, окунется в веселую студенческую жизнь. Ее ждут вечеринки, концерты и фильмы.

А еще молодые люди, вечно вьющиеся вокруг в надежде поймать ее взгляд. Стоит им только мельком увидеть ее улыбку, услышать мелодию ее смеха – и они будут очарованы. Она выйдет замуж за одного из таких молодых людей, у них родятся дети, и она забудет об их давно канувших в вечность средах, когда скрипка и виолончель так прекрасно звучали в унисон.

– Ничего хорошего из этого не выйдет. Неужели вы не понимаете?

Он вздрогнул и резко повернулся – футляр его скрипки царапнул стену. В тени улочки рядом с домом Бальбони возникла фигура Альды, он едва разглядел ее лицо в свете уличного фонаря.

– Прекратите все сейчас, – велела Альда. – Скажите ей, что не сможете участвовать в конкурсе.

– Вы хотите, чтобы я отказался? Но как бы я объяснил свое решение?

– Придумайте что-нибудь. Воспользуйтесь головой.

– Мы репетировали несколько месяцев. Мы готовы к конкурсу. Почему я должен отказываться от него сейчас?

В ее ответе, хотя и произнесенном тихо, слышалась угроза:

– Если вы не послушаетесь, будут последствия.

Он неожиданно для себя рассмеялся. Ему надоела злобная женщина, чей недовольный взгляд неизменно отравлял счастливые вечера, проведенные рядом с Лаурой.

– Думаете, вы напугали меня?

– Если в вас есть здравый смысл... если она вам не безразлична... вы должны испугаться.

– А почему, вы думаете, я участвую в конкурсе? Ради нее.

– Тогда уйдите сейчас, пока не завлекли ее в бурные воды. Она невинна. И даже не представляет, что вот-вот должно произойти.

– А вы представляете?

– Я общаюсь с людьми. Они говорят всякое.

Лоренцо посмотрел на нее, и неожиданно его осенило.

– Вы одна из них – из чернорубашечников?[9 - Чернорубашечники – вооруженные отряды фашистского движения в Италии. Униформа этих отрядов включала черные рубашки.] Они поручили вам напугать зарвавшегося еврея? Чтобы он убежал и спрятался на помойке, как крыса?

– Вы ничего не понимаете, молодой человек.

– Нет-нет. Прекрасно понимаю. Но меня это не остановит.

Он пошел прочь, чувствуя на спине ее ненавидящий взгляд, горячий, как кочерга. Злость гнала его из Дорсодуро с удвоенной скоростью. Совет Альды держаться подальше от Лауры произвел на него противоположное действие – он никогда не откажется от участия в конкурсе. Нет, он останется предан и конкурсу, и Лауре. Именно об этом все последние месяцы кричал Марко: евреи не должны уступать ни дюйма, а как законопослушные итальянцы настаивать, даже требовать, чтобы их права не ущемлялись. Почему он не прислушивался к словам брата?

Он лежал в кровати и не мог уснуть – слишком волновался, думал только о победе. Лучшим отпором будет их триумф на конкурсе. Они покажут всем: закрывая для него Ка-Фоскари, власти лишают себя того лучшего, что может предложить Италия. Да, вот наилучший метод борьбы – не написание бесполезных писем в газеты, как предлагает Альберто, не марши и протесты, которыми угрожает Марко. Нет, лучше всего упорно трудиться и подниматься выше других. Докажи, что ты достоин, и заслужи уважение.

Им с Лаурой придется блистать на сцене очень ярко, чтобы никто не усомнился в их победе. Вот как мы будем сражаться. Вот как будем побеждать.

8

Атласное платье Лауры было таким черным, что поначалу на темной улице он видел только неясные слабые отблески. Потом она появилась из тьмы и остановилась перед ним, невероятно эффектная в мерцании уличного фонаря. Ее светлые волосы золотым водопадом струились с одного плеча, на плечах лежала короткая бархатная накидка. Ее отец, несший в футляре виолончель, в черном костюме с галстуком-бабочкой выглядел не менее элегантно, но Лоренцо не мог оторвать глаз от Лауры, ослепительной в атласном платье.

– Ты ждал нас здесь? – спросила она.

– В зале громадная толпа, почти все кресла заняты. Дед просил сообщить вам, что держит для вас место, профессор. В четвертом ряду слева.

– Спасибо, Лоренцо.

Профессор Бальбони оглядел его с головы до ног и одобрительно кивнул:

– Вы будете прекрасной парой на сцене. Поспешим, прохладный воздух вреден для инструментов. – Он протянул виолончель дочери. – Не торопитесь в первых тактах. Не позволяйте нервам задавать ритм.

– Да, папа, мы запомним, – заверила отца Лаура. – А теперь тебе пора в зал – найди поскорей свое место.

Бальбони поцеловал дочь.

– Удачи вам обоим! – сказал он и направился в зал.

Несколько секунд Лаура и Лоренцо стояли молча в свете фонаря, глядя друг на друга.

– Ты такая красивая сегодня, – выдохнул он.

– Только сегодня?

– Я хотел сказать...

Она рассмеялась и прикоснулась двумя пальцами к его губам:

– Молчи, я знаю, что ты хотел сказать. Ты сегодня тоже красивый.

– Лаура, даже если мы не победим, если допустим промашку на сцене, мне все равно. Недели, проведенные вместе... музыка, которую мы играли... – вот чего я никогда не забуду.

– Ты говоришь так, словно сегодня что-то закончится. Сегодня все только начинается. И мы начнем с победы.

Все только начинается. Они прошли в дверь, ведущую на сцену, и Лоренцо позволил себе представить будущее с Лаурой. Другие вечера, когда они будут входить в концертные залы со своими инструментами. Лаура и Лоренцо выступают в Риме! В Париже! В Лондоне! Он воображал, какой она станет со временем. Ее волосы посеребрит седина, ее лицо повзрослеет, но всегда, всегда будет прекрасным. Разве можно мечтать о более идеальном будущем, чем то, в котором они снова и снова будут переживать это мгновение – вместе выходить на сцену?

Они прошли на звуки настраиваемых инструментов в артистическое фойе, где уже собрались другие конкурсанты. Внезапно все бросили настройку и уставились на них.

Лаура сняла бархатную накидку и открыла футляр виолончели. Не обращая внимания на взгляды и зловещую тишину, она несколькими резвыми движениями наканифолила смычок и села на стул, чтобы настроить инструмент. Она даже не подняла глаз, когда строго одетый человек быстро пересек комнату и подошел к ней.

– Синьорина Бальбони, позвольте вас на несколько слов? – пробормотал он.

– Лучше позднее, синьор Альфьери, – сказала она. – Сейчас мне с моим скрипачом нужно подготовиться.

– К сожалению, у нас возникли... осложнения.

– Осложнения?

Человек демонстративно избегал смотреть на Лоренцо.

– Если бы мы могли поговорить приватно...

– Говорите со мной прямо здесь.

– У меня нет ни малейшего желания устраивать неприятную сцену. Вам наверняка известно о последних политических изменениях. В конкурсе могут участвовать музыканты только итальянской национальности. – Он скользнул взглядом по Лоренцо. – Ваша заявка на участие отклонена.

– Но наши имена есть в программе. – Она вытащила листок бумаги из футляра виолончели. – О нашем участии было объявлено месяц назад. Вот наши имена. Мы выступаем вторыми.

– Программа изменилась. Вопрос закрыт.

Он развернулся и пошел прочь.

– Нет, не закрыт, – громко крикнула ему вслед Лаура – все ее услышали.

Конкурсанты смотрели, как она поставила виолончель и последовала за человеком.

– Вы не назвали мне ни одной причины, по которой мы не можем участвовать в конкурсе.

– Я назвал вам причину.

– Нелепая причина.

– Таково решение комитета.

– Что? Вашего комитета баранов? – Лаура звонко рассмеялась. – Мы будем выступать вторыми, синьор Альфьери. У нас есть все права. А теперь, если вы нас извините, мы с моим скрипачом должны подготовиться.

Она развернулась и пошла назад к Лоренцо. Нет, она не шла – маршировала, устремив взгляд перед собой, высоко подняв плечи. Ее глаза сверкали, как бриллианты, щеки покраснелись, словно в горячке. Музыканты расступались перед ней, не желая испытать на себе столкновение с мощью девушки.

– Давай настраивать инструменты, – скомандовала она.

– Лаура, это может грозить тебе неприятностями, – сказал Лоренцо.

– Ты хочешь играть или нет?

Она бросила ему вызов – девушка, которая не знала страха. Думала она о последствиях или же была настолько исполнена решимости победить, что риск не имел значения? Опасно или нет, он будет рядом с ней. Вместе они должны быть бесстрашны.

Лоренцо расстегнул футляр и извлек из него Ла Дианору, поднес скрипку к подбородку, и когда почувствовал дерево кожей, нервы его успокоились. Ла

Дианора никогда не подводила его; играй на ней хорошо, и она будет петь. В гулком артистическом фойе голос ее зазвучал так тепло и сочно, что к Лоренцо повернулись другие музыканты.

– Пирелли и Гайда! – выкрикнул синьор Альфьери. – Вы первые. На сцену.

Все смолкли, а первая пара конкурсантов взяла инструменты и поспешила вверх по лестнице.

Лоренцо, обнимая Ла Дианору, воспринимал тепло дерева, как тепло человеческой плоти. Он посмотрел на Лауру, но ту полностью захватил звук приветственных аплодисментов сверху. Потом раздались первые тихие звуки виолончели, голос которой эхом разнесся по деревянной сцене. Лаура внимательно слушала музыку, устремив взгляд вверх, ее губы скривились в улыбке, когда прозвучала явно фальшивая нота. Она жаждала победы не меньше, чем он. Судя по неуверенной игре первого дуэта, они с Лаурой не могут проиграть. Лоренцо постучал пальцами по грифу – ему не терпелось выйти на сцену.

Первая пара закончила играть, и до них снова донеслись аплодисменты.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Цыгане (ит.).

2

Пожар, огонь (ит.).

3

Сколько это стоит? (ит.)

4

Венецианское гетто – район Венеции, где принуждали селиться евреев во времена Венецианской республики. Гетто располагалось в сестьере (так называются районы Венеции, которых всего шесть, откуда и название sestiere – «шестая часть») Каннареджо и разделялось на Новое гетто и Старое гетто (Гетто-Веккьо). На самом деле Новое гетто старше Старого. – Здесь и далее примеч. перев.

5

Ка-Фоскари – государственный университет в Венеции.

6

Фегато – жареная печень, приготовленная по особому итальянскому рецепту.

7

По мере сближения Италии и Германии Муссолини копировал антисемитские законы и политику Германии. «Расовый манифест» – один из таких примеров, опубликован 14 июля 1938 года, его подписали преподаватели самых престижных итальянских университетов.

8

Джузеппе Вольпи (1877–1947) – итальянский бизнесмен и политик, активный участник фашистского движения. Луиджи Луццатти (1841–1927) – итальянский политик еврейского происхождения, в 1910–1911 годах занимал пост премьер-министра.

9

Чернорубашечники – вооруженные отряды фашистского движения в Италии. Униформа этих отрядов включала черные рубашки.

Купить: <https://telnovel.com/tess-gerritsen/igra-s-ognem-sbornik>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)